



Любимые

Мария
БУШУЕВА

ЧУТЬ ПОЗЖЕ
ЗАЖГЛИСЬ
ФОНАРИ

Мария Степановна Бушуева

Чуть позже зажглись фонари

Серия «Любимые»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63615067

Бушуева, М.С. Чуть позже зажглись фонари : Вече; Москва; 2020

ISBN 978-5-4484-8495-7

Аннотация

Талантливую прозу Марии Бушуевой знают читатели многих «толстых» журналов, география которых широка: от «Москвы» до «Сибирских огней», от «Невы» до «Литературной Америки». Роман «Демон и Димон», написанный в стиле «новой искренности», в форме воспоминаний, рассказывает о семейной драме, которая привела героя к гибели, о любви и ненависти, об измене и верности, о людях, чьи поступки вольно или невольно обусловили трагический исход. Прошлое выступает в романе как рок. Так можно ли освободиться от его власти?.. Роман полон не только психологически глубоких наблюдений, но и поэзии. И рассказы его удивительно дополняют: «Чуть позже зажглись фонари, отражаясь в лужах и во влажном асфальте, легкий ветер, появившийся точно призрак старинного фонарщика, слегка колыхал их отражения... По лужам внезапно пробежала цветная рябь: переключился светофор...»

Содержание

Демон и Димон	5
Часть первая. Мираж	5
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Мария Бушуева
Чуть позже
зажглись фонари

© Бушуева М.С., 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Демон и Димон

Некоторые ведут себя так, словно верят, что можно катиться под гору – немного или сколько угодно – и наверняка достичь места, откуда можно будет покатиться вверх.

Г. Торо

Часть первая. Мираж

Все болит у древа жизни людской.
К. Леонтьев

Совершенно внезапно для себя я свернула с асфальтированной улицы на газон, будто зная точно, что там, под деревьями, меня ждет странная находка. Огромное продолговатое яйцо цвета морской волны лежало в траве, возле серого ствола дерева. И когда я взяла его в руки, оно быстро потеплело, мне даже показалось, что от его концов, не уместившихся в ладонях, начал исходить какой-то неземной мерцающий свет. Возможно, то была всего лишь иллюзия, ведь найденное яйцо так сильно походило на чудо.

Моей мамы уже не было в живых, бабушка, которой я показала находку, ничего определенного сказать не смогла, но я увидела: и ее удивило это гладкое, огромное, морского цве-

та яйцо... Назавтра я понесла его в школу и подарила мальчику со сросшимися на переносице бровями: мы учились с ним в одном классе, и я, двенадцатилетняя, так сильно любила эту летящую черную чайку, застывшую в полете. Куда потом делся мой подарок, не знаю. Мальчик буркнул мне: «Спасибо» – вот и все. Наверное, загадочное яйцо ушло в обмен на какую-нибудь импортную зажигалку или подобную мальчишескую ерунду.

* * *

В один прекрасный момент, а точнее, тяжелый и ужасный момент, вы понимаете, что в жизни вас по-настоящему любила только ваша кошка, черепаховая кошка с пушистым хвостом, которую вы же и назвали Читтой: котенок, найденный в коробке, оставленной кем-то на лестничной клетке вашего подъезда, был черненький и, точно обезьянка, подвижный, а второе «т» в ее имя вы добавили, потому что восприняли кошечку, как еще одну вашу тень, как бы живое отражение стихийной части вашего собственного сознания (вы в это время увлекались буддизмом). И это отражение, чуть повзрослев, действительно удивительно точно принимало и перенимало все ваши чувства, выражая их с помощью своего кошачьего арсенала средств выражения. К тому же она оказалась очень умна.

Умна совсем не по-кошачьи.

Такое вот отражение отражения – отделившаяся часть вашей психики, еще привязанной к страстям материального мира...

Впрочем, умна-то была она умна, но мертвого котенка съела. Возможно, именно эта картина, открывшаяся мне как черная тень ее материнства – после ласкового и тщательно-го вылизывания остальных котят (всего их было шесть, но осталось пять), – оказалась той чертой между человеческим и животным, которую я уже не смогла переступить, и мгновение, когда на месте умной домашней кошки мой взгляд обнаружил дикое животное, из пасти которого торчала лапка ее собственного мертвого детеныша, предрешило наше расставание – а сначала отвергло ее мое сердце. Слова одного буддийского монаха о том, что читта бродит где хочет, ведет в ад и удерживает человека в сансаре, вспомнились мне, а главное, я испытала к кошке физическое отвращение. Но, ощущая все, что чувствую я, эту мою свершившуюся с ней разлуку душ она не почувствовала и любила меня по-прежнему – верно, преданно, точно собака, и, когда я находила хозяев для ее котят и отдавала очередного (и так пристроила всех), она ни разу не царапнула меня, однажды только попыталась, подлетев, ударить лапой. Но – не смогла. И, ступая за мной как тень, только выла и выла от боли разлуки. Вы говорите, кошки быстро забывают, когда у них отнимают потомство? Не знаю. Читта страдала о своих пушистых крохах почти месяц, а может, и дольше...

И я не могла представить без Читты своего дома. Но...

И здесь я пишу и плачу.

Если в дверь звонил чужой, от которого шли недоброжелательные или опасные флюиды, Читта занимала оборонительную позицию у порога, шипела, а не мяукала, ее шерсть штормило, глаза грозно сверкали.

Хорошо, что с такими людьми я разговаривала только через дверь.

Но что было делать, когда, прилетая из командировок, в дом пытался войти мой собственный муж?!

Едва только он звонил в дверь, она кидалась к порогу и превращалась в лютую дикую кошку, я открывала, но Читта не пускала его, подпрыгивала и всеми зубами впивалась ему в ладони – он неделями ходил с забинтованными руками, и она вгрызалась в его бинты... Читту приходилось закрывать в маленькой комнате двухкомнатной квартиры, пока он был дома, что, согласитесь, создавало массу неудобств. Теперь-то я понимаю: она просто чувствовала и, отражая, выражала по-кошачьи экспрессивно интуитивную часть моей собственной психики, мое подсознательное знание о том, в какой тяжелый узел завяжутся отношения с ним и во что потом выльется его любовь-ненависть...

Но об этом позже.

В свое сознание этим предчувствиям я не открывала калитки: так сильно мне хотелось иметь при себе мужа, то есть не отличаться от обыкновенных женщин моего возраста.

та. Или чтобы муж имел меня при себе. Просто я стремилась быть как все, вслед за своим отцом-геологом, стеснявшимся своего своеобразного склада личности – непонятного и чуть нелепого здания, через щели которого посверкивали узкие зрачки невоплотившейся гениальности, очень подозрительные для обывателя. Да, мой отец был чудаковатым человеком, потратившим всю жизнь на доказывание окружению своей обыкновенности, страшась своей инаковости столь же сильно, как мой муж горящих из-под потолка глаз Читты.

Он-то как раз, наоборот, всеми силами пытался быть не таким, как все, вызвать к себе интерес, и моя улиточная застенчивость – при интересной внешности – вызывала у него недоумение. Вы не от мира сего, говорила его подруга детства, широкоплечая, мужеподобная Инна Борисовна, бывшая музыкантша, игравшая так плохо на пианино, что даже я, бросившая занятия музыкой в подростковом возрасте, это понимала. Инна Борисовна стала успешной бизнесменшей. А меня терпеть не могла. А вот другая его подруга Галка (троюродная сестра и первая любовь) – бывшая балерина – меня любила. Она вышла на пенсию в тридцать семь лет, уехала жить в деревню и там учила детей танцам и английскому языку, но, иногда приезжая в город, бывала у нас, и тогда мой муж становился тихим и нежным: сейчас, в ключе моды, в их отношениях нашли бы что-то инцестуальное...

Да, мне не хотелось быть не от мира сего.

Но, возвращенная социально активной бабушкой-журналистом, самостоятельно жить я совершенно не умела. И потому брак восприняла как спасительную раковину, в которую могу спрятаться от социума, грозящего всевозможными опасностями и неприятностями. Правда, и там я не находила того спокойствия, о котором мечтала: то в перламутровые створки ударяла галька, выбрасываемая волной, то раковину засыпал песок, и я начинала в ней задыхаться. Но если говорить о моем браке без поэтических образов, то есть на языке сегодняшней трезвости, мы как бы заключили с мужем своеобразный договор: я превращаю его в удачника, а взамен получаю возможность заниматься живописью, не думая о куске хлеба. Такая семейная формула – без романтики.

Индивидуальное предприятие Димон зарегистрировал еще до меня, сразу же, как только это стало разрешено. Однако все, что он начинал, у него разваливалось. Помидоры, которые он по дешевке скупал у сельчан, надеясь подороже продать в городе, сгнивали непроданные, брошенные прямо в ящиках на дачном участке, фирма, в которую он внедрил-ся и которая занималась какой-то оптовой торговлей, вскоре развалилась – и так далее. Но все это было до меня. И выходила замуж я не за торговца помидорами, а за молодого прозаика, впрочем, столь же неудачливого, как и продавец томатов.

И почему-то знала, что сделать его успешным и удачливым у меня получится.

И только мы поженились, его старый знакомый показал, как раскрутить торговлю карнизами. Нужны были только деньги, чтобы создать свое ООО. Отец Димона уже умер, да и его сбережения полностью девальвировались. Занять можно было только у «новых русских» – появился тогда такой термин! Или у «старых русских» – хранивших сбережения не в бумажных советских купюрах, а в золотых украшениях и бриллиантах. У моей, к тому времени тоже покойной, бабушки была такая подруга – старушка, вдова члена-корреспондента Медицинской академии наук, к которому за успешное лечение шли в советские годы караваны верблюдов, груженных подарками, ее уговаривали уехать в Израиль, но она – русская по матери – осталась в России. Меня она любила. И внезапно сделала мне подарок, деньги от продажи которого и пошли на развитие начального бизнеса.

* * *

И Димон сказал мне: или я, или кошка. Я же, мол, не смогу жить в этом доме. Я ночью боюсь выйти в туалет, эта дикая тварь, как обезьяна, ловка, она легко забирается в верхний угол между стеной и потолком и готова, уверяю тебя, готова в момент прыгнуть мне на шею! Ты вот выйди ночью и только посмотри, как в темноте сверкают ее глаза! Он дважды произнес от волнения «готова», то есть с ударением на последнем слог.

Действительно, стена коридора была неровной из-за специальных жидких обоев, и по ней Читта быстро добиралась до потолка.

– Или я, или Читта!

Господи, я уже слышала эту фразу. От своей бабушки. Но тогда она звучала так: или я, или кот!

Конечно, мне, десятилетней, пришлось выбрать бабушку и отнести обратно прожившего у нас два месяца прекрасного кота Пушу. Взяла я его в незнакомой семье генерала, жена которого решила избавиться от животного, поедавшего с большим энтузиазмом их шикарную пальму; девочки во дворе, узнав, что я мечтаю о домашнем питомце, привели меня к ним; я до сих пор помню этот сталинский дом с высокими потолками, женщину в шелковом халате и с тем высокомерным выражением лица, какое было только у жен советских высших военных чинов, а сейчас у косметически усовершенствованных жен российских долларовых миллионеров; она провела меня в квартиру, чтобы отдать вместе с котом его матрасик, и я увидела обгрызенную им пальму в кадке, посередине большой темной комнаты, которую, я уверена, генеральша называла «залой».

Мой муж тоже пытался называть так двадцатиметровую комнату в панельном доме. Это вызывало у меня иронию, которую из деликатности я, конечно, предпочла скрыть.

Когда я принесла кота обратно, в дом меня уже не пустили. С невыносимым выражением лица генеральша взя-

ла у меня, горько плачущей, кота – и захлопнула тяжелую дверь. Бом.

В ту же ночь мне приснился человек с синей рукой. Высокий мужчина, у которого одна рука была синяя. Сон стал повторяться. И я просыпалась в жутком страхе. Мне самой было непонятно, чего я боюсь: во сне ничего не происходило, просто в середине какого-нибудь сюжета появлялся человек с синей рукой – и тут же все обрывалось.

И вот как-то с моей школьной подружкой мы шли по заросшему зеленым переулку, было начало сентября, вечера еще не стали короткими и темными, но уже утратили тот ясный долгий свет, который так располагает к поздним вечерним прогулкам летом.

Мы шли и о чем-то болтали. Наверное, о мальчиках. Несмотря на то что я была очень застенчивой и первый раз поцеловалась только после двадцати лет, влюблена я была с одиннадцати – в того самого мальчика с черной чайкой бровей, застывшей в полете над морем моей души. Подружка, подражая мне, тоже старалась в кого-нибудь влюбиться, но, наделенная вялым темпераментом, она больше придумывала чувства, чем испытывала их на самом деле.

Впрочем, разве мои чувства не были всего лишь пылкой выдумкой?

Навстречу нам попадались нередкие прохожие, чаще немолодые семейные пары, иногда мамы с детьми на трехколесных велосипедах и в колясках и, конечно, влюбленные

парочки, на которых я смотрела во все глаза, потому что мне тогда уже хотелось понять закон, по которому именно эти, а не другие двое притягиваются друг к другу. Ведь сколько на свете симпатичных девушек и не меньше симпатичных парней – почему стали парой именно эти двое? Общий вопрос, точно геометрический угол, острием уходил в частный: мальчик со сросшимися бровями – это моя любовь навсегда? Или... или мне тоже предстоит еще встретить кого-то другого в своей взрослой жизни?

Я обычно размышляла вслух, благо моя подруга была очень молчаливой, но слушать мои рассуждения обожала – она потом записывала их в свою тетрадку (это было время до Интернета), чтобы однажды извлечь из нее цитату и вставить в разговор с кем-то другим. Это мне льстило.

И в тот вечер, наверное, я рассуждала о чем-то подобном, ведь начался новый учебный год, а моя старая любовь не кончалась, и меня уже беспокоило – не станет ли она вечной.

И вдруг я вздрогнула, и тут же мои задрожавшие колени сковал холод: по тенистому переулку нам навстречу шел человек с синей рукой!

Удивительно: совершенно так, как в моем сне, он был высоким и худым, с темно-серым цветом лица (во сне на цвет лица внимания я не обращала). Вместо одной руки у него был протез в ярко-синей перчатке, а здоровая рука была опущена вдоль тела. Синюю руку, согнутую в локте, он держал перед собой.

Он посмотрел мне в глаза. Не знаю и сейчас, что он смог прочитать в моем молниеносном ответном взоре, но он тут же отвел взгляд – и мой страх исчез.

Я уже не боялась человека с синей рукой.

И никогда больше его не встречала.

* * *

Случались в моем детстве и другие горести – и почти все они были связаны с бабушкой. Ей было уже далеко за шестьдесят, но многие ее называли не бабушкой, а женщиной – такая шла от нее витальная женская сила, что возраст ее окружающими не замечался: с крупной головой, большим бюстом и профилем львицы – она выстраивала одним своим волевым импульсом вокруг себя окружающих, точно магнит – металлические опилки, и ее родные сестры, чтобы не попасть в сферу ее магнетического воздействия, предпочли жить от нее за три тысячи километров.

Но львица, несмотря на свою колоссальную силу, была ранена временем: в сталинские тридцатые по ее семье проползли черными танками репрессии, задавив родного дядю и основательно помяв остальных.

Моя бедная мать, ее дочь, служила львице костылем.

Дочери было, конечно, разрешено выйти замуж, но только так, как представляла ее замужество ее мать, ожидавшая от семьи зятя не только поддержки дочерней одаренности (моя

мама обладала уникальным бархатным меццо-сопрано), но и для себя – почтения и подчинения. А в идеальном варианте костылем должен был стать зять.

Бабушки я боялась не меньше, чем человека с синей рукой, но здесь страх был привычным и так ловко прятался в садовых зарослях подсознания, что я не только способна была испытывать параллельно ему к бабушке и любовь, но даже порой осмеливалась нарушать ее воспитательные предписания.

Так, нарушив в шестилетнем возрасте строгий запрет выходить за пределы двора, я перешла через дорогу и обнаружила во дворе большого двухэтажного здания сверкающую на солнце кучу металлических обрезков: витых стружек и просто прямых металлических перьев, кусочков разноцветной проволоки, отливающей синим и медно-красным, осколки крохотных неровных серебристых брусков... Это было волшебно! Я набила ими карманы своей курточки, но все медлила, стоя на вершине кучи, счастливо улыбаясь и оттягивая миг расставания с найденным чудом. Внезапно здание зашумело, зазвенело – из угловой двери вышел взрослый человек в сером халате нараспашку, надетом на брюки и рубашку, и, как мне показалось, крайне строго и осуждающе посмотрел на меня. Куча металлических обрезков и опилок виделась мне сокровищами, я страшно испугалась, тут же подумав, что человек в сером халате решил, что я их ворую! И, с огромным усилием преодолев тревогу, сказала: «Я взяла

немного. Можно?»

Он рассмеялся – добрый смех его словно отразился в стеклах здания и солнечными зайчиками запрыгал по асфальту: да хоть всю бери!

Это было счастье. Весь мир стал ярким, влажным, цветущим, пахнущим майскими ароматами.

Дома меня с нетерпением ждали бабушка и мама: обед был уже на столе. Бабушка торопливо, схватившись за капюшон, стала снимать с меня куртку, и ее ладонь упала, как чаша старинных весов, от тяжести найденных мной сокровищ. Что это, опорожня карманы куртки, гневно спросила она, разве это девочка? Посмотри, Лера. Мама, выглянув через бабушкино грузное плечо, попыталась мне робко улыбнуться. А я захлюпала носом. Сурово сдвинув брови, бабушка собрала с пола весь будто разом потускневший мой клад, бросила его в хозяйственную сумку и, как была в домашнем платье, ведь стоял расцветающий май, вышла за дверь.

Ни время, ни звуки не проникали ко мне: я стояла оглушенная. И – сквозь пелену немоты – услышала: «Я закопала весь этот хлам во дворе. А теперь обедать».

Мама пообедала и ушла по делам службы.

А я сидела за столом больше часа.

– Ешь! – требовала бабушка. – С хлебом ешь!

– Я ем, – отвечала я, глотая слезы.

С трудом впихнув в себя две ложки супа, а потом столько же картофельного пюре и наконец улучив момент, когда ба-

бушка вышла в кухню, я быстро выбросила две сочные котлеты за диван, а хлеб в форточку... Надо ли объяснять, что в детстве у меня был слабо выражен инстинкт продолжения жизни посредством питания, отчего мне покупали в аптеке невозможно противный, горький аппетитный чай...

На следующий день я побежала в тот же самый двор, чтобы снова набрать в карманы сверкающих металлических обрезков. Накрапывал дождь. Во дворе было пусто. Сокровища исчезли. И здание казалось онемевшим и серым. Окна уже не сверкали – они стали мутными.

Видимо, было воскресенье, выходной день, дети не учились, а школьные мастерские не работали. Такая же волшебная гора появилась бы уже на следующей неделе. Но я этого не знала. И не знала, что мой будущий муж, старшеклассник восемнадцати лет, не попавший в выпускной элитный английский класс, как раз в том самом году заканчивал именно эту школу, работая в ремесленных мастерских... Впрочем, сейчас, после всего происшедшего, я уже не считаю его своим мужем. Не считаю, что у меня вообще был муж.

И с этой минуты буду называть его просто Димоном.

Полная отчаяния, я позвала своего лучшего друга – веснушчатого тихого шестилетнего мальчика, родившегося позже меня на два месяца, – и мы перекопали весь наш двор в тех местах, где не было асфальта. Но ничего не нашли. Разумеется, бабушка просто выбросила содержимое моих карманов на помойку – в железный ржавый бак, который увози-

ла каждое утро мусоровозка на общественную свалку.

* * *

Возможно, как раз его имя сыграло важную роль: моего самого любимого друга детства тоже звали Дмитрием. Димой. Правда, бабушка всегда подчеркивала, что Димами зовут Вадимов, а Дмитрии – это Мити. Но этих тонкостей ономастики никто из моего окружения не знал, и я пропускала ненужную информацию мимо ушей. Потому имя Митя прозвучало для меня только с открытием Бунина...

Мальчик со сросшимися бровями был любим мной не так, как первый Дима, – школьное чувство было уже окрашено оттенками влюбленности и пробуждения эротических фантазий: я каждый вечер в постели перед сном придумывала, как мы с ним случайно где-то встречаемся и целуемся в темноте. На этом трепетном моменте сюжет обрывался. Лишь черная чайка взлетала и кружилась над нами...

А Диму первого я любила всеобъемлюще: он был моей платоновской половинкой, я не отделяла его от себя и никогда не говорила: «Я с Димой», а только так: «Мы с Димом». Окончание мужского рода свидетельствовало, что гендерные роли распределены правильно: Дим – мужская ипостась нашего единого целого, а я – женская.

О, какое это было тихое блаженство – в теплый майский день лежать с ним рядом на траве нашего дворового большо-

го газона (почему-то заходить малышне на этот газон взрослыми разрешалось) и смотреть на облака.

– Верблюд! – воскликну я.

– Слон! – откликнется Дима.

– Зебра! – произнесу я.

– Кот, кот, кот! – отзовется он.

А белые кучевые облака все плывут, меняя форму и очертания, плывут, плывут над нами, над двумя маленькими детьми, еще не знающими, что на той планете, куда они случайно или неслучайно попали, есть смерть.

– Кит, кит, кит! – бормотала я.

– Пароход плывет, – шептал он.

И сейчас я вижу: мы, пятилетние, лежим на яркой зеленой траве на самом краю земли...

Это было счастье.

Оно не повторилось в моей взрослой жизни никогда.

Но и то, детское, счастье было недолгим.

* * *

В шестилетнем возрасте я заболела пневмонией: воспаление легких началось внезапно, как горный обвал – и следующий за ним резкий провал в черноту. Когда я, придя в себя после высоченной температуры, первый раз открыла глаза, белая влажная простыня, спадающая с двери в мою комнату, мне показалась лавиной ледяного снега...

Пока я болела, развелись мои родители.

Наверное, горным обвалом для меня стал их разрыв: маленькие дети всё чувствуют, даже если не понимают до конца смысла обрывочных фраз взрослых.

Выздоровливала я очень медленно.

Отец женился, а мама бросила учебу в консерватории.

У нее точно отключилась часть мозга: она ходила, говорила, даже что-то делала, но казалась спящей, и мне стал сниться один и тот же очень страшный сон, в котором я теряю свою маму, а потом ищу ее; одна, маленькая, испуганная, я плутаю по черным вечерним улицам и вдруг вижу вывеску «Ресторан» – с пяти лет я уже умела читать, и первой «большой» прочитанной книгой (и любимой) стала сказка «Бемби», – и вот во сне я захожу в двери ресторана и спрашиваю незнакомого мужчину (у него почему-то поверх костюма надет серый фартук): «Вы не видели мою маму?» И он с неприятной зловещей усмешкой показывает рукой на подоконник окна: вместо вазы или горшка с цветком там стоит потерянная голова моей мамы...

Я кричу и просыпаюсь.

Эти сумерки души, тенью проступившие на красивом, молодом материнском лице, очень пугали меня. И я снова пряталась в болезнь. И снова мне снилось, как я брожу по улицам ночного города одна.

«...Бемби не мог долго находиться в одиночестве. Как и раньше, он тоскливо начал звать маму. За этим занятием

его и застал большой олень – самый старый и большой из всех, кого он видел.

– Что ты кричишь? Ты боишься быть один? Тебе должно быть стыдно!»

Помню жаркие апельсины на тумбочке и расплзающиеся по мягкой простыне шахматы, в которые играла со мной бабушка... Белый конь, забравшись под подушку, давил мне ухо – но у меня не было сил прогнать его и водворить в коробку.

* * *

Дима, конечно, навещал меня. Но, сидя у моей кровати, он казался совсем отдельным, и, возможно, именно сильнейшее желание скорей вернуть утраченный мир райского единения, еще не отравленный вкусом запретного яблока, заставило меня все-таки выздороветь, ведь все остальное: рухнувший дом детства из-за развода родителей, горечь таблеток и ежедневные издевательские уколы, для которых приходилось стягивать пижамные штанишки, – было таким ужасным, что возвращаться обратно не хотелось.

Но я все-таки выздоровела и наконец впервые вышла во двор. Я шла по асфальтированной дорожке, словно по палубе корабля, – так сильно меня качало от вызванной воспалением легких астении.

Первое предательство уже караулило меня, ослабленную

болезнью, чтобы выстрелить прямо в сердце. Пуля только задела его, но испугала навсегда.

Дима азартно играл с мальчишками в войну и вдруг увидел меня, идущую по двору.

– Дим, – позвала я.

И его лицо выразило не радость, не счастье от обретения вновь своей единственной подруги, а растерянность. Он остановился; за ним встали мальчишки, которые тоже прекратили игру, перестав носиться с палками и победными воплями. Они ждали. И время точно застыло, немного покачиваясь, как мостик между двумя берегами, – это был какой-то не детский, а судьбоносный момент выбора: или он остается с ними, или вернется ко мне и его окатят насмешливым презрением. Они еще до моей болезни дразнили его «женихом».

Дима стоял, не делая шага ни к ним, ни ко мне. И молчал. И это его молчание, как мне показалось, тянулось долго, очень долго. А мостик все покачивался, и коленки у меня дрожали. Но лицо Дима было уже не растерянным, а огорченным. И я поняла: ему хочется продолжить играть с мальчишками.

– Дим, – зачем-то снова позвала я; хотя он в конце концов решил и пошел ко мне, я уже понимала: счастье кончилось навсегда.

Ведь я никогда, если бы он болел, не стала бы играть ни с кем из других детей, никогда. Я бы ждала только его.

А мою любовь и верность предали.

Меня предал Дим, мой самый любимый, самый лучший друг.

Это первое в жизни, самое главное предательство стало знаком моей женской судьбы, определив мои отношения с мужчинами и подорвав мою веру в возможное платоновское единение мужчины и женщины. В четвертой ножке стола моей веры завелись древесные жучки и выели ее изнутри. И уверенность в себе я потеряла тогда же. Ведь я выбралась из болезни только ради того, чтобы снова быть вместе с ним, моим Димом! Но, оказывается, я ему не нужна! Меня легко можно заменить!

«Мы с Димом» распалось.

Мой первый брак тоже распался. Буквально через полгода.

Я как бы просто сходила замуж.

Познакомились мы случайно: небольшая институтская компания, начавшая после сданного экзамена гулять и резвиться в стенах вуза, решила продолжить веселое действо у своего приятеля-художника, благо мастерские тогда были просторные. Вуз был художественный, и я, одинокая и замкнутая, внезапно была подхвачена потоком веселья, точно кораблик, и меня понесло к незнакомому молодому художнику вместе со всеми.

Он открыл нам дверь – и сноп света из широкого подъезда упал на его красивое, правильное лицо. Даже слишком

красивое.

Моя лучшая и единственная подруга Юлька, рассматривая как-то фотографии в моем альбоме, назвала его Аленом Делоном.

* * *

Кстати, актерские способности – удел не только артистов театра и кино, но и представителей совсем иных профессий, казалось бы далеких от сцены, экрана или шоу-бизнеса.

Например... сапожников.

Мне было девятнадцать, и художник через две недели сказал: «Слушай, давай поженимся, ну так, на годик... Попробуем. А там посмотрим».

Мы сидели у него в мастерской, я делала наброски, а он сколачивал рамки.

Той ночью я почти не спала. Сходить замуж мне тогда очень хотелось, но только обязательно с участием загса – это освободило бы меня от навязчивого опасения остаться старой девой (при моей страшной застенчивости такая перспектива мне явно светила), а при неудачной попытке и скором разводе выдало бы пропуск в свободу от лицемерно-сочувствующего общественного порицания: «Уже двадцать пять (шесть, семь), а еще не замужем...»

Но обычного молодежного сожительства я очень опасалась, наслушавшись рассказов бабушки о ее двоюродной тет-

ке, которая очертя голову бросилась в объятия какого-то прохвоста, родила от него – и осталась одна с дочкой, унаследовавшей несчастливую судьбу матери. Мне совсем не хотелось повторять плохие семейные сценарии.

И вот почти под утро мне приснилось, будто захожу я в магазин, где среди всевозможных мелких товаров: значков каких-то, замков дверных, оберточной бумаги, коробок конфет – вижу красивые красные модные сапоги и хочу купить их. Мне дают их примерить, и, натягивая сапоги на ноги, я вдруг понимаю, что они... картонные. Но я все-таки покупаю эту пару, выхожу на улицу, ощущая, как красиво выглядят мои ноги в модных сапожках, тут начинается дождь – и яркая обновка под его сильными струями начинает быстро размокать!

Бабушка моя, состоявшая в Союзе журналистов и в компартии, выслушав сон, сказала:

– Жених картонный. Если и поженитесь – ненадолго, до первой ссоры... – И прибавила: – Хорошо, что ты мне сон рассказала: нужно сдать в ремонт мои полусапожки. А то уже холодно для туфель.

* * *

Бабушка сдавала обувь в ремонт всегда одному и тому же сапожнику-китайцу. И, когда возвращалась от него, обычно говорила:

– Не похож он на сапожника, а похож на разведчика.

– Почему? – удивлялась я.

– У него выправка военная и речь слишком грамотная, я стараюсь обычно его разговорить, ведь он не может считать чем-то ему опасной обычную старушку.

Я сразу вспоминала Агату Кристи, тонко угадавшую, что никто не обращает внимания на пожилых дам, которые сами тем не менее из-за массы свободного времени обращают внимание на все.

И в тот день, вернувшись с отремонтированной обувью, бабушка произнесла уже привычное:

– Нет, он, совершенно точно китайский резидент!

– Здорово, – сказала я, просто чтобы как-то отреагировать.

Но, конечно, слова бабушки я не принимала всерьез. Страна, в которой я родилась, только что раскололась и рухнула, и толпа, точно вылупившийся из нее монстр, кинулась яростно топтать свою скорлупу, чтобы, стерев в порошок, получить от ее продажи зеленую прибыль.

Мальчишки хотели стать уже не художниками, космонавтами или штирлицами, а бандитами, а девочки – путанами! Но потом, к счастью для страны, бандиты мечты трансформировались в банкиров, а путаны в модели. Но про разведчиков как-то никто и не вспоминал. Профессия словно затонула в мутной воде перемен. Иногда, правда, гоняли по телящику старый советский фильм «Семнадцать мгнове-

ний весны», который с удовольствием смотрела моя бабушка. Воздействием фильма я и объясняла ее паранойяльные идеи. Кроме того, юность бабушки совпала с тридцатыми годами прошлого века с их черными воронками и шпиономанией...

Когда Димон повесил у себя в кабинете на работе портрет Сталина, я спросила его: «У тебя, видимо, никто из дедов-прадедов в тридцатые годы не пострадал?»

– Мы потеряли империю! – сказал он раздраженно. – А он империю построил! И выиграл войну! А все остальное про него – либеральная чушь!

– Сильную страну можно построить не на костях, – сказала я.

Но вездеход времен перевалил через границу веков, и в стране стали медленно проступать приоритеты прошлого, незаметно меняя клиповую мозаичность сознания и вытесняя одряхлевшего, но не повзрослевшего цыпленка-монстра за пределы новой общественной скорлупы.

И вот два года назад история с бабушкиным сапожником внезапно всплыла вновь, чтобы обрести окончание. Сын моей и Юлькиной приятельницы, учительницы испанского языка, окончив школу с отличием, поступил в академию на факультет военных переводчиков.

– Стану контрразведчиком, двойная жизнь – это по мне! – объяснил он, приехав с матерью к Юльке на дачу. – Буду ловить шпионов!

– Боря, – сказала я удивленно, – разве профессия не ушла в прошлое вместе с деревянными счетами кассиров или перкуссией вместо флюорографии?

– Точно! – засмеялась Юлька. – Какие могут быть шпионы, когда у метро можно купить все что угодно, а на военных полигонах катаются буржуи на снегоходах?

– Ну, это вы преувеличиваете, – сказал Борис серьезно, – насмотрелись телевизионных спекуляций. У метро многого не купишь, это все вранье! Но агенты вот есть, точно! Только формы работы и у них, и у нас стали совсем иные. С применением компьютеров и мобильных телефонов.

Он улыбнулся загадочно. И мне стало ясно, что он еще почти подросток.

– Но порой удается раскрыть и старых шпионов, которые тайно работали в стране двадцать – тридцать лет. Нам представили на лекции недавно любопытный пример такого рода: была проведена успешная операция, тщательно спланированная... Да, может, вы помните: на площади перед нашей станцией метро стояла синяя будочка, сапожник в ней сидел, пожилой такой, узкоглазый?

– Конечно, помню! – сказала я. – Моя бабушка у него обувь ремонтировала и любила беседы с ним вести.

– Так вот, много лет не удавалось обнаружить точку утечки информации и все-таки удалось! Этот самый сапожник – друг вашей бабушки – оказался полковником японской разведки! Женат он был на русской, имел сына в России, а про-

должал работать и получал чины и награды!

– Как – японской? Моя бабушка говорила, что китайской!

И я рассказала, как бабушка, возвращаясь с отремонтированной обувью, всегда произносила одну и ту же фразу: «Он не простой сапожник, он китайский резидент», а я мысленно подтрунивала над ней.

На некоторое время на дачной террасе воцарилась тишина.

– Ошиблась бабуля, – наконец с ноткой снисходительности произнес Борис, бегая пальцами по экранчику мобильного телефона. – Жаль, что ее уже нет, ей бы в наш вуз...

Юлька подмигнула мне, а я засмеялась.

– Послушайте, подруги, – прерывая мой смех, чуть обиженно сказала тогда моя приятельница, мать Бориса, – мне вот сегодня снились сапоги (кстати, о сапожниках), сапоги не очень новые, правда, но еще очень приличные, я их во сне надеваю, и мне в них удобно и тепло. К чему бы это?

Через полгода она вышла замуж за испанца, шеф-повара ресторана, и уехала. А Борька остался в России.

* * *

Димон-второй писал рассказы, очерки и переводил с английского.

Переводы он своим призванием не считал, но благодаря им пристрастился к чтению английской литературы и, когда

я принесла ему английское издание «Коллекционера» Фаулза, был на седьмом небе от счастья: роман произвел на него колоссальное впечатление. Даже меня – молодую художницу с длинными светлыми волосами – он стал звать Мирандой. Мы еще не были женаты.

Как вы можете легко догадаться, на себя он проецировал образ главного героя.

И вот здесь встает вопрос: почему? Сын известного писателя, имеющий фактически два высших образования, техническое и гуманитарное, знающий английский, начитанный в философии, разве Димон походил на косноязычного малокультурного Фредерика Клегга, для которого Миранда всегда оставалась человеком из другой среды?

Я несколько раз задавала себе этот вопрос, пока не догадалась: проекция была двойной – Димон вжился в образ своего отца, который, если бы не его литературная одаренность, как раз полностью подходил бы по исходным данным к образу главного героя «Коллекционера»: некрасивый, недополучивший образования, выходец из низов, женившийся на красавице из среды гораздо более культурной (последним мужем бабушки Димона по матери был племянник иркутского миллионщика из очень культурной семьи Сибиряковых) – и фактически стерший жену как личность.

Но была у Димона и болевая точка, сближающая его с Фредериком: чувство ущербности из-за небольшого роста. Я была выше его, и, если надевала туфли на высоких каблук-

ках, он тут же превращался рядом со мной в карлика: у Димона и так была крупная голова, длинные руки и коротковатые ноги – иногда мысленно я называла его своим Коньком-горбунком.

Низкий рост мучил его со старших классов школы: красивые девушки выбирали себе таких же высоких и красивых, а Димон, несмотря на породистый профиль, четкие европейские черты лица и обаятельную улыбку, едва только вставал из-за стола – переставал быть для таких девушек предметом их интереса.

Такую девушку он мог только украсть.

И украденной девушкой оказалась я.

Я не была абсолютной красавицей, но, несмотря на очки, которые всегда носила, считалась вполне привлекательной за счет модельной худобы, роста и длинных пепельных волос – потому нравилась многим.

И Димон, способный оценить только тот предмет, на который уже поставлен знак качества, еще на выставке, где мы познакомились, обратил на меня внимание – благодаря моему бывшему мужу-художнику, ставшему вдруг самым модным акварелистом города.

Мы разбежались с художником не из-за конфликтов – он оказался «голубым» (тогда курсировало такое романтическое определение), которому для поддержания версии о «правильной ориентации» нужно было пусть на короткое время, но оказаться женатым. Мы совпали. Мне штамп

в паспорте тоже дал некоторые дивиденды: меня перестали считать старой девой (а фактически я ею и оставалась!) и мной было получено право на свободу – теперь я могла долго не выходить замуж!

На одной из акварелей моего первого мужа, случайно попавшей на выставку авангарда и названной «Девушка и дождь», была изображена я: все общие знакомые узнавали, узнал и Димон. Он почему-то резко побледнел и долго стоял у этой работы, переводя взгляд с нее на меня и обратно. А потом сказал: «Здорово нарисовано. Похоже». Я засмеялась: сходство модели и ее изображения не являлось для меня признаком того, что картина удалась.

После этой выставки Димон стал часто звонить мне, именно тогда начались наши катания по окологородским шоссе, одно из которых завершилось «кражей»: Димон привез меня к себе на дачу, закрыл дверь на ключ, сам оставшись со стороны сада, и потребовал, чтобы я дала ему согласие стать его женой. Сначала я ему отказала. Тогда он сел в машину и умчался, а вернулся только поздно вечером. На окнах были решетки, дверь, несмотря на ветхость дачи, оказалась очень прочной – и выбраться сама я не смогла.

– Так выйдешь за меня? – в полночь, точно в «черном романе», снова спросил из-за двери вернувшийся Димон глухим голосом (лунный свет падал на его лицо какой-то прямой стрелой). – Скажи «да», тогда открою!

Осудите меня! Я ответила «да».

«Коллекционер» уже стал настольной книгой Димона. Он даже прихватил где-то в деревне старый зеленый микроавтобус, весьма смахивающий на фургон Клегга, – не купил, а просто на что-то обменял. На нем он и привез меня в тот день на дачу...

Вскоре мы поженились.

* * *

На машину, как я узнала позже, он занимал денег у отца, какое-то время на ней ездил, а потом продавал по спекулятивной цене – долг возвращал отцу, на остаток денег какое-то время жил, потом снова занимал у отца и так далее. Такой вот Димон придумал круговорот машин и денег.

Джон Фаулз стал четвертым острием, на котором было растянута полотно Димоновой личности и, конечно, его писательства. Первыми тремя служили М.М. Пришвин, И.А. Бунин и Генри Торо: от каждого Димон брал все, что способен был взять. В сущности, он и его рассказы, как деревенское лоскутное одеяло, были составлены из заимствований; в литературном смысле это можно было назвать подражанием, в психологическом – проекциями, каждая из которых постепенно разрасталась до роли и в конце концов настолько плотно срасталась с малооформленной тканью его собственной личности, что отделить одно от другого становилось сложно. Особенно когда проекция совпадала с обра-

зом семейной истории или с его собственным психологическим строем.

Так, от Пришвина Димон взял охоту, путешествия и любовь к природе, декларируемую Димоном постоянно. Целые куски рассказов Димона были написаны «под Пришвина». Сильное впечатление на Димона произвели и дневники Михаила Михайловича: прочитав их, Димон возмечтал о «поздней любви» (скажу, забегая вперед, что на этой мечте он и попался), хотя все свои эротические похождения описывал в ключе бунинских «Темных аллея», однако без бунинской тонкости, с уклоном в пошловатость.

В своих программных рассказах Димон провозглашал свободу от материальных ценностей, «жизнь в лесу» и патетично утверждал, что ему ничего в жизни не нужно, кроме ветки березы и старой палатки... Это был уже Торо.

Джон Фаулз достроил чертеж Димоновой жизни: сценарий «бездарное чудовище и талантливая красавица» начал воплощаться им в жизнь с параноидальным упорством. И неважно, что я не была красивой, важно, что я привлекала внимание противоположного пола, про меня и мои работы говорили, во мне находили «харизму», но даже не это решило Димонов выбор и защелкнуло капкан наших с ним отношений, а то сходство, которое, как показалось Димону, обнаруживалось у меня с девичьими фотографиями его мамы: она-то была для него и его отца красавицей бесспорной. Здесь я как бы в скобках замечу, что Димон если увлекался

на стороне, – а без этого ему было скучно, – то всегда искал у любовницы внешнее сходство со мной, то есть, если пофрейдистски подойти, именно со своей матерью.

Но если от Пришвина, Бунина и Торо Димон черпал как бы реальные образы, подражая им, а не их героям (в случае с Буниным – рассказчику), и это, пожалуй, сказывалось относительно благотворно на его собственном «я», то английский писатель Фаулз оказался для Димона роковым: его герой Фредерик, с которым Димон слился, начав атаку на меня как Миранду, был бездуховен и бездарен – и потому он возжаждал сначала овладеть, а потом уничтожить мир, ему противоположный и экзистенциально недоступный, то есть тот, которым на самом-то деле овладеть он не сможет никогда.

Фаулз опустил Димона до уровня Клегга, случайно нажав на болевые точки Димонова подсознания: «отец-чудовище», собственный комплекс маленького роста и скрываемое даже от самого себя подозрение в собственной бездарности.

Но Димон не был бездарен.

Бедный Димон.

* * *

В жизни моей бабушки был, пожалуй, только один человек, которого она считала для себя авторитетом, – ее родной брат Арсений. И меня сначала это очень удивляло. Ведь Арсений Плутархович не сделал никакой профессиональной

карьеру: не стал ни профессором консерватории (то есть социально значимым для бабушки лицом), ни просто профессором (то есть лицом уважаемым), он остался, если использовать оценочную шкалу самой же бабушки, никем – никем вообще! – это был провинциальный попивающий пенсионер, когда-то проучившийся в Московской консерватории и несколько лет солировавший в столице как пианист, а после женившийся на женщине из Саратова, уехавший к ней – и... заглохший там, как обмельчавшая и высохшая речушка. Детей у Арсения Плутарховича не было, жена его скончалась, и в семьдесят два года он остался один, живя на жалкую пенсию. Однако ни бедность, ни одиночество его не тяготили.

И моя бабушка – всегда при соприкосновении с обществом встававшая в позу Ермоловой на знаменитой картине, – с братом-стариком проявляла такую мягкую, добросердечную естественность и оказывала ему такое неподдельное уважение, что я просто не узнавала ее! Можно было объяснить ее отношение к деду Арсению сентиментальными воспоминаниями их общего детства и сохранением авторитета старшего брата (бабушка была его моложе на два года), если бы у них не имелся еще один родной брат, который, в свою очередь, был старше Арсения на те же два года, причем в советское время занимал почетное место начальника отдела строительства в обкоме партии, – но бабушка не поддерживала с ним никаких отношений, хотя вполне могла с его по-

мощью улучшить квартирные условия (мы жили в крохотной двухкомнатной квартирке), – и не потому не поддерживала, что тяготела к диссидентству, эта причина проглядывала, но была всего лишь внешней по отношению к глубокой и основной: бабушка не любила своего старшего брата Евгения Плутарховича, никогда не объясняя почему. Впрочем, как можно объяснить любовь или ее отсутствие? Лишь однажды обронила: Евгений – наипустейший человек, а мой Арсений – толкователь.

Через эту любовь к старику, который сливками общества оценивался бы как пустое место, высвечивалось и в самой бабушке нечто подлинное, спрятанное от пристальных чужих глаз, а иногда скрываемое ею и от самой себя.

Деда Арсения полюбила и я.

Этот скромный, худощавый, среднего роста пожилой человек дважды приезжал к нам, располагаясь в нашей маленькой кухне, где между окном и столом с трудом помещалось кресло-кровать, которое он сам по вечерам раздвигал, и ноги его упирались ночью в коричневую электроплиту.

Во время его приездов бабушка становилась другой. Мне, даже маленькой, приходящие к нам в гости яркие журналистки казались фальшивыми, ненастоящими, а мужчины-журналисты – злыми и остроязыкими (причем в прямом смысле: я так и представляла их заточенные, как ножи, языки), и я вполне соглашалась с самохарактеристикой одного из них, называвшего всю их компанию «матерыми журна-

листскими волками» – в ней у моей бабушки было почетное место: она курила «Беломор», слушала с удовольствием политические анекдоты и звалась «королевой эфира».

А с дедом Арсением бабушка точно сбрасывала с себя волчью шкуру, переставала быть королевой эфира и по совместительству главной Бабой-ягой журналистского леса, в ее лице проступали черты какой-то другой жизни, может быть, той, застывшей в прозрачном пузыре нескончаемого потока времен, где под оранжевым абажуром вечерами собиралась ее семья: отец, инженер с дореволюционным высшим образованием, потом расстрелянный в тридцать восьмом, его жена, тихая и нежная женщина, пережившая мужа всего на несколько лет, бабушка, мать отца, гордившаяся своими пусть и захудалыми, но дворянскими корнями и своим дедом, министерским чиновником, – мирная интеллигентная спокойная жизнь, счастливая жизнь успела еще за четыре года, предшествовавших революции, отбросить на лицо бабушки свой тихий свет. Этот свет начинали излучать ее глаза, когда она смотрела на своего старшего брата.

* * *

Но и сам старик Арсений Плутархович был очень светлый, добрый и совсем настоящий. Он ласково рассказывал мне, пятилетней, о том, что у каждого предмета может быть живая душа, но вырастает она в нем, как невидимый цветок,

только если этот предмет полюбишь, и мог за обедом придумать сказочную историю о булочке, которую я не доела: кусочек, брошенный тобой на блюде, обиделся на тебя, говорил он, качая седой головой, отчего сам напоминал одуванчик, – и мне даже казалось, подууй я на его волосы, они взлетят и дед Арсений тоже легко поднимется к потолку, – а ведь зернышки, которые пошли на муку для твоей булочки, все друг с дружкой раньше дружили, и ты, съев одну часть и оставив кусочек, их разлучила.

Я сразу вспоминала про своего Дима и скорее доедала булку.

Как-то он при мне сказал бабушке: «Тонечка, ты уж прости, но тебе сильно нравится, как несет трагедию потери дочери твоя приятельница Евгения Леонардовна. Так пусть тебе это поскорее разонравится».

Бабушка, похоронив дочь, мою маму, потом часто повторяла эти, на первый взгляд, туманные слова своего старого брата.

Все ведь видел, добавляла она, все знал.

Когда дед Арсений приехал к нам погостить во второй раз, мне только исполнилось четырнадцать и я уже была способна понять, что моя бабушка вкладывает в слово «толкователь»: дед Арсений никогда не говорил пустых, штампованных фраз, которыми бесконечно жонглируют люди, он вообще говорил мало, но каждая его фраза как бы высвечивала суть предмета, явления или человека, причем ту суть, кото-

рая прячется за маской, за сценой и даже за привычным полотном обыденности.

Именно от деда Арсения я впервые услышала слово «проекция».

Он сказал бабушке: «Ну что ты так сердита на Евгения (видимо, пока я не вошла в комнату, они говорили о старшем брате), я видел его в прошлом году, он так и не стал самим собой, живет в мире социальных иллюзий и личных проекций, самая сильная из которых – образ нашего прапрадеда, крупного министерского чиновника. Мы только думаем, что мы всё в жизни делаем сами, что мы отдельные частицы мироздания, но родовое прошлое ловит нас и вот его поймало и заставило повторить судьбу прапрадеда почти шаг в шаг. Евгений – исполнитель родовой воли».

– Он власть любит, – ответила бабушка. – Номенклатура – это власть, вот он сделал партийную карьеру.

– Все совпадает, Тонечка, из нашей семьи только он мог быть избран для продолжения линии прапрадеда.

– Да уж, тебя, Сеша, трудно представить начальником.

А я подумала: кем же можно представить деда Арсения?

Бабушка, точно прочитав мой мысленный вопрос, глянула на меня мельком и сказала:

– Я бы назвала тебя философом, но все они сейчас витийствуют на университетских кафедрах, а ты ведь мудрец, не они.

Меня охватила сильнейшая печаль, когда дед Арсений,

взяв свой простой клетчатый чемоданчик, стоя в дверях вагона, прощался с нами. Поезд должен был через две-три минуты тронуться, и старик держался за ручку автоматической коричневой двери, чтобы внезапный толчок вагона не нарушил его хрупкого старческого равновесия.

* * *

«Мы с Димом» распалось – и Димону-второму я уже не верила заранее. Он даже не мог предположить, насколько оставшаяся в детстве без матери молодая обаятельная художница – его Миранда – не уверена в себе!

И поспешила рассказать ему о своих престижных женихах, чтобы самоутвердиться в его глазах – мол, если ты брошишь меня, есть, есть кому подобрать...

Ведь после той сцены во дворе моего детства я стала жутко закомплексованной: все девочки, а потом девушки и женщины казались мне гораздо привлекательнее меня. Кто я, спрашивала я себя, стоя перед зеркалом и придавая своему лицу выражение «хорошенькости», – очкастая и сутулая девица. Никому не нужная. Кому такая может понравиться? Любой предпочтет мне игру с мальчишками.

В пятнадцать лет я была носатой, длинной и тонкокостной, а потому казалась очень худой. И хотя мода на худобу уже шагала по подиумам, любовь к пышным бюстам никто не отменял. Так иронично говорила моя бабушка, грудь ко-

торой выступала из-за угла впереди нее на два шага, точно сначала несли мягкую скамейку, а потом появлялась и она сама... У меня такой мягкой скамейки не было. Бабушке это казалось уродством. Но тем не менее ее отношение ко мне напоминало мистическое служение, бабушка моя ведь сама знала за собой ту силу, от которой бежали ее сестры. И однажды сказала: «Ты не должна была родиться, но родилась. Потому что оказалась сильнее меня».

Я тогда не возразила, потому что уже чувствовала: если я сильнее бабушки, то лишь в даосском смысле – именно Лао-цзы писал о том, что слабое побеждает сильное...

– За несколько лет до тебя я отказала академику, обещавшему мне двухкомнатную московскую квартиру (на тот момент у меня была только своя комната в коммуналке), а к тому же длительное проживание с ним в Италии, в том чудном солнечном месте, где прохаживался Горький, обожавший Голубые пещеры, – хвастливо и глупо говорила я Димону, поднимая себе цену. (Я угадывала, что он, как спекулянт по природе, мог любить только то, что престижно, или то, на что есть большой спрос. Впрочем, здесь я зря употребила глагол «любить».)

– Дура.

– А потом убежала и от молодого мужчины...

– С успешным бизнесом и наличием дорогой загородной недвижимости? (Димон так и выразился.) И выбрала меня – человека, у которого на тот момент был один костюм и ста-

рая разбитая «тойота», но не было ни своей квартиры, ни постоянной работы! Ты это хочешь подчеркнуть? То есть ты героиня?

– Почти.

– А по мне – так оторванная от реальности дура. Не от мира сего. Хотя... – он усмехнулся, – никакой практической пользы от твоего ума... Значит, все-таки дура по американским меркам.

Я возмутилась:

– А кто предупреждает заранее о смене курса рубля, просматривает твои перелеты? Стоит мне сказать: не волнуйся, долетишь – у тебя спадает психическое напряжение. Я сохраняю тебе здоровье. Разве это не практическая польза?

– Это не от ума, – возразил Димон, – это помимо тебя. – И захохотал, демонстрируя идеальные зубы. Но вдруг добавил, удивив меня: – В отличие от других я-то вижу твою ценность и знаю, что сам живу под крышей твоей удачи. Был ведь абсолютнейшим неудачником. Хотя я не понимаю, как ты это делаешь. Скорее всего, это действительно идет просто через тебя, ведь ничем рациональным объяснить траекторию твоей жизни невозможно. Иногда думаю: как ты вообще до меня существовала в нынешнем сугубо материальном мире? Как вообще выживаешь?

– Нормально.

Почему-то я обиделась.

На самом деле мой выбор из трех предложенных судьбой

вариантов объяснялся достаточно просто: я как художница иногда участвовала в выставках, на которые стекалась, так сказать, культурная прослойка общества, а Димон был сыном известного писателя, то есть мы вращались в одной достаточно узкой среде, и я уже рассказывала, что познакомил нас с Димоном мой первый муж-художник, с которым у нас сохранились вполне мирные, хотя и далекие отношения, – мы все трое случайно совпали на одной из выставок российского авангарда.

– Выживаешь только благодаря своей экстрасенсорике. Ты инопланетянка до мозга костей... (Словосочетание насмешило меня, но я скрыла улыбку.) И объяснить тебя невозможно. Ну, или... – он решил снизить романтический пафос до юмора, – Франсуа Перрен из старой комедии, которого спасает только то, что он почему-то всегда поворачивает в противоположную сторону от приготовленной для него опасной ловушки. – Он засмеялся, но смех его мне показался фальшивым.

Но самой опасной ловушкой для меня оказался как раз он! Димон. А точнее, его проекции.

* * *

И все-таки сейчас я понимаю, что не отвергла ухаживаний Димона (какой милый старинный получился оборот!) потому, что он был родом из моего детства. Как Димон-первый.

А все остальное просто этому сопутствовало. Или благоприятствовало.

Мы выросли на одной улице. Он учился в соседней школе – той самой, во дворе которой однажды расцвела для меня сверкающая гора металлических обрезков. Более того, вполне возможно, частью этой удивительно прекрасной горы я была обязана лично ему – последний месяц перед окончанием школы работавшему в школьных мастерских.

Наверное, я не один раз видела его на улице и он меня, но из-за разницы в возрасте (он был старше почти на тринадцать лет) мы не могли заметить друг друга. Впрочем, когда, лет в двадцать пять прочитав «Лолиту», он уже, по его признанию, стал пристальнее вглядываться в лица двенадцатилетних девочек (о порочное влияние классика Набокова!), то вполне мог выделить меня – худенькую девочку со светлым хвостиком, симпатичную, с горсткой веснушек на чуть вздернутом носу, очень застенчивую – из общей массы. Но мог и не выделить.

Однако, хотя наши жизни протекали тогда в разных возрастных ареалах, не имевших точек соприкосновения, его семья существовала в пространстве нашего дома – как бы виртуально, виртуальность была еще докомпьютерной, что не меняло ее сущности: человека знаешь, слышишь о нем, но в реальности ты с ним не встречался. Так и семья моего будущего мужа иногда возникала на прозрачном полотне дня – например, упоминанием бабушки, что вышла но-

вая книга писателя Сапожникова, который живет недалеко от нас, в деревянном собственном доме; бабушка произносила все это с такой интонацией, что я воспринимала и самого писателя Сапожникова, и его деревянный дом, как факты заведомо отрицательные: ведь мы жили в маленькой отдельной квартире, и это было как бы правильно. И сам Сапожников, иногда одним бабушкиным словесным росчерком возникавший и тут же исчезающий в воздухе нашего дома, мне не нравился. Он был как его фамилия. Груб и прост.

Это значительно позже возникнет в моей жизни скромный, добрый и мудрый сосед по даче, глубокий старик, бывший сапожник, до самого конца своей долгой и достойной жизни изготавливавший мягкие войлочные домашние тапочки, а потом культурологически откликнется ему Якоб Бёме... Бабушка моя и к Бёме бы относилась отрицательно: философ обязан быть философом, а не обувь ремонтировать, сказала бы она ему, но, возможно, бабушке просто стало бы обидно за Плутарха, в честь которого ее дед назвал своего сына, ее отца, окрестив, однако, как Пантелеймона.

Как-то бабушка мимоходом за обедом сообщила, что про старика Сапожникова ходит слух, что он стал придерживаться какой-то нелепой диеты – ест одну траву, а Евгения Леонардовна вообще называет все их семейство странным. И правда, разве публичный человек имеет право быть одиозной фигурой?

Я сразу представила этого Слуха – тощего субъекта с ма-

ленькой узкой сухой головой, который шагает на ходульных ногах от дома к дому.

* * *

Евгения Леонардовна, дама с фигурой в форме гитары, имела репутацию известного искусствоведа и числилась в хороших знакомых моей бабушки. Именно она произнесла итоговую фразу: ваша дочь, Антонина Плутарховна, с таким поразительным меццо-сопрано должна была гастролировать по всему миру, а вы – лично вы! – закопали талант своей дочери в землю.

Она сама потеряла единственную дочь, но винила во всем ее молодого шального мужа, любителя розыгрышей и водки, который не заметил, напившись в компании у костерка, что его жена пропала. Алтайские реки бурные – она пошла в темноте купаться и ее унесло течением.

Дед Арсений был прав: моей бабушке очень нравилось, как гордо и мужественно несет Евгения Леонардовна свое горе.

– Вы – лично вы! – закопали талант своей дочери в землю.

Услышав этот приговор из-за двери своей комнаты, я ощутила кожей колкое и ледяное дуновение ужаса перед нескончаемой и непреодолимой властью бабушки. Ужаса – без примеси удивления: бабушка и мои сокровища закопала во дворе! И наверное, в ту же яму засунула и мамин талант.

Я представила его в виде волшебного кольца.

– А внучка? Поет? – Евгения Леонардовна спрашивала обо мне, и я за дверью замерла от предчувствия, что сейчас услышу что-то для себя очень страшное.

– Нет. Она в ту породу («ту», разумеется, подразумевало никчемность). Всем Кургановым медведь на ухо наступил.

Медведь! Я знала его: он приходил за мной ночью, когда я болела воспалением легких, и хотел забрать. Но добрая фея прогнала его и дала мне совет, как обмануть медведя: нужно носить лохматую кофту, сказала она (у меня была такая, из-за цвета я звала ее «лиловкой»), медведь примет в ней тебя за медвежонка и не тронет.

– Это не девочка, – возмущалась бабушка. – Вместо красивых платьев она требует только свою полинялую «лиловку».

Кофта спасала от медведя, но образ медвежонка, в который я спряталась, вызывал другое опасение: каким-то образом я уже узнала, возможно, из книжек, что медведи живут меньше людей, и мне необходимо было теперь совершенно точно знать, в какой год своей жизни я должна буду срочно сбросить медвежье обличье, чтобы выжить уже как человек.

И вечерами, когда страхи сгущались и повисали надо мной, навязчиво жужжа, словно черные мухи, я подходила к бабушке и задавала свой тайный и главный вопрос:

– Сколько лет живет медведь?

– Лет тридцать, наверное, – отмахивалась бабушка, ино-

гда удивленно прибавив: – Ты в сотый раз спрашиваешь!

Итак, на зеленой лесной поляне рядом лежат все Кургановы: мой папа, бабушка Курганова, брат моего папы, то есть мой дядя, и моя старшая сестра по отцу Алена. И медведь, проходя, топчется у каждого на ухе, старательно вдавливая когтистой лапой уши Кургановых в траву...

Евгения Леонардовна ошиблась только в одном: бабушка закопала в землю не талант своей дочери, а свою дочь вместе с ее вокальным талантом. Моя мама погибла, когда мне было одиннадцать лет.

– Твоя мама пренебрегла своим даром сама, бросив его под ноги любимому мужчине, твоему хрому отцу, да еще алиментщику, у него дочь была от первой жены, кинула свой талант прямо на порог обычной семейной жизни, и его растоптали. Я уговаривала ее, не выходи за него, тебе замуж рано. И он тебе не пара, он чудак-человек, он смешон! А тебе нужно учиться вокалу. И необходим не клоун, а мужчина-поддержка, который бы не только оценил твой дар, но помог бы тебе сделать сценическую карьеру. В день свадьбы умоляла ее: откажись! Ты загубишь свою жизнь. Но твоя мама сказала: нет.

И когда она ушла из консерватории, у меня помимо воли вырвалось: я тебя проклинаяю.

Господи! Я прокляла свою дочь!

Но одно меня утешает: я всегда знала – мне суждено похоронить свою дочь. С самого раннего детства моими любимы-

ми сказками были андерсеновские «Русалочка» и «Мать». Русалочка отдает свой голос за любовь – как твоя мама! А во второй сказке умирает ребенок, и утешением матери служит предсказание, что жизнь его была бы полна мучений... Так и я утешаю себя: Лера хоть немного счастья в жизни, но увидела, а кто знает, что ее ждало бы дальше с таким недотепой-мужем?

Бабушка достала папиросу.

– Русалочка и я... Ведь меня звали в театр, но родилась Лера. Выходит, что, родив, я умерла.

Все бабушкины излияния слушать было мне тяжело, но она исповедовалась мне как дневнику. Еще мучительнее было не верить некоторым бабушкиным выводам, ведь, пока я не получила письмо от деда Арсения, я часто думала, что жизнь моей мамы, не разведи моих родителей две невзлюбившие друг друга старухи – свекровь и теща, была бы вполне счастливой: да, она пожертвовала бы талантом, отдала мужу, а не сцене свой глубокий, фиолетовый голос всего лишь ради семейного тихого счастья – собирания грибов, покупки мебели, поездок с двумя детьми и мужем на море, праздников, проводимых с одной и той же компанией верных друзей, но ни разу бы не пожалела об этом, ей вполне бы хватило пения дома, а рукоплещущий зал заменила бы ей гордая и восхищенная улыбка любимого мужа...

И мой отец был против пения на сцене, его легкое тщеславие вполне удовлетворялось исполнением женой роман-

сов для гостей в праздничные вечера.

Заставила дочь восстановиться на курсе вокала бабушка, имитировавшая предынфарктное состояние.

– Мамочка, не умирай! – плакала дочь у ее постели. – Что мне сделать, чтобы ты жила?

– Вернуться в консерваторию!

И мама моя вернулась.

Чтобы после развода с отцом перестать петь уже навсегда: она потеряла голос.

А значит, была обречена.

* * *

И поняла я это из письма.

Вот что дед Арсений написал мне незадолго до своей смерти:

«Ты утверждаешь, что моя сестра виновата в ранней смерти своей дочери Валерии, твоей мамы. Не обвиняй свою бабушку. Она писала мне, что, похоронив дочь, сбитую машиной, до конца своих дней уже не могла спать без снотворного. Она сама винила себя, что не уберегла свое дитя, потому что считала причиной ее гибели собственное материнское проклятие.

Но – напрасно.

Это было не ее проклятие, а прорвавшийся через подсознание твоей бабушки родовой приговор: ее дочь казнили за

отречение от своего таланта. Бабушка твоя разрушила личную жизнь своей дочери и фактически погубила ее не по своей воле – она была только проводником нашей общей генетической силы. И сопротивляться ей не могла. Это страшная сила генетического воплощения, которая передавалась в нашем роду из поколения в поколение, заставляя служить себе, подчиняющая себе и уничтожающая неподчинившегося. Она и меня отбраковала за отступничество от своего дара (у меня находили в юности большие способности пианиста) и, отбраковав, разрушила мою жизнь. Кто я? Старый, больной пьяница, ни жены, ни детей. Именно эта генетическая сила, и тоже за отступничество, выбросила из родовой цепочки и твою молодую мать – только приговор ей был суровей. Почему я выжил, а твоя мама погибла? Наверное, одарен я был послабее, меня отбраковали как мусор, вот и все.

Но эта сила владеет и управляет жизнью лишь того из нашего рода, кто одарен. Остальные могут жить обычной жизнью. И даже часто вполне счастливы. Но некоторых она выбирает в проводники для исполнения своей воли, то есть во избежание отступничества. Моя сестра, твоя бабушка, была проводником. Наш с ней родной дядя, мощный гипнотизер, сначала использовал родовую силу для блага, но, когда силой своей возгордился, погиб.

Это говорила мне мать, твоя родная прабабушка, нашедшая свой последний приют на Ваганьковском.

Видишь, есть и второй закон нашего рода: не возгордись.

Это мистика, скажешь ты. Да. И почему эта сила выбрала наш род, я не знаю. Думаю, что у каждого рода есть свой демон (не в смысле демонизма, а в древнегреческом исключительно). В общем, ни на один вопрос у меня нет ответа. Твоя бабушка, сестра моя Антонина Плутарховна, уверяю тебя, была хорошим человеком. И если стереть с ее личности случайные черты обывательского наслоения, под ними можно было обнаружить доброту, доброжелательность и сердечность. А ее авторитарная жесткость, о которой ты пишешь, вспоминая занозы и ранки своего детства, была всего лишь защитным панцирем. Этот панцирь помог ей, юной, пережить тридцатые годы – годы черных репрессий, выжить в Великую Отечественную и, похоронив единственную дочь, вырастить тебя, то есть свою внучку.

Но все-таки самым главным в ней было то, чем она не могла управлять: сила. И сама она была ее проводником.

Так что твою маму погубила не бабушка твоя, а родовая сила. Бойся ее и ты».

Дед Арсений вскоре скончался. Узнала я об этом сначала во сне: он ступил на палубу парохода и помахал мне на прощание рукой – и я знала, что больше мы с ним не увидимся.

Со мной бабушка часто как бы выглядывала из панциря и становилась мягкой, даже беззащитной, но пелена тихого, нежного дождя скрывала грозную гору, на вершине которой зияло жерло вулкана, – и я чувствовала: власть неведомой горы непреодолима...

От ужаса, что судьба моей матери отразится в моей судьбе, я подчинилась бабушке сразу, угадав задолго до письма деда Арсения, просто спасительным детским наитием, что неведомое осуществляет власть и казни именно через мою бабушку.

И она стала звать меня Шелковой Кисточкой.

И однажды сказала: я буду служить тебе, деточка. Ведь ты меня победила сразу своим рождением: каюсь, я ведь заставляла твою маму избавиться от тебя на этапе Лериной беременности, даже договорилась со своей знакомой, гинекологом, что на следующий день, в десять утра, дочь моя ляжет к ней в клинику и там быстро освободится от будущего ребенка. Они все равно разведутся, сказала я, зачем рожать?

И врач согласилась.

Но твоя мама вечером задремала над книгой, и ей приснилось, что на нее со светящейся в темноте иконы смотрят глаза Девы Марии, смотрят скорбно и нежно. Мама твоя проснулась, но успела различить в тонкой туманной полоске между сном и явью плач – будто плакал грудной ребенок. А в нашем подъезде ни в одной квартире младенцев не было. И стены квартиры с другим подъездом не сообщались.

Твоя мама расплакалась сама и на аборт не пошла.

А я была у себя, и, когда на следующий день приехала к твоим родителям, они мне сообщили, что их обоюдное решение таково: Лера в больницу не пойдет.

Глупая, вместо того чтобы шлифовать свой прекрасный

голос, она надумала рожать детей!

Но второй ребенок – я всегда была уверена, что это был мальчик, мой погодок, – родиться не сумел: бабушка отвела свою дочь в клинику уже сама – беременность прервали.

И душа нерожденного стала тревожить меня, иногда меня окутывало облако совсем непонятной беспричинной печали, тогда я стремилась скорее встретиться с Димом, видимо, на него неосознанно перенеся ту любовь к моему родному брату, которая была мне отпущена на всю жизнь, но, лишенная объекта, стала печалью.

Были и другие признаки его невидимого присутствия: в «Детском мире» мне все чаще хотелось получить в подарок машинку, а не куклу (мама связывала это с моей привязанностью к отцу-автолюбителю) и платьям я стала предпочитать клетчатые штанишки или шорты.

Мой нерожденный брат проникал в меня незаметно, но вполне ощутимо, меняя мой характер, снижая шкалу женственности и внося в мое поведение черты мальчишеской независимости.

– А ты родилась. – Бабушка вздохнула.

Да, добавляю я сейчас мысленно, замещающее звено в цепочке, отбраковавшей окончательно мою мать.

Но вы вправе спросить, почему письмо деда Арсения я приняла на веру? А я поверила ему полностью. Может быть, ей просто польстило, что ее род обладает какой-то сверхъестественной силой и порождает таланты, скажете вы.

Я отвечаю: если и польстило, то чуть-чуть. Гораздо сильнее испугало.

К тому же вы прочитали письмо моего двоюродного деда не очень внимательно! Ведь он пишет: «...у каждого рода есть свой демон (не в смысле демонизма, а в древнегреческом исключительно)».

* * *

И в семье Димона был и свой демон, и свой скелет в шкафу. Скелетов я обнаружила даже несколько. Один материнский и несколько отцовских. Самый заметный отцовский был тот, что перешел к нам с Димоном почти без изменений, – подсознательный сценарий личной жизни: красавица и чудовище (те же Фредерик и Миранда или аксаковский «Аленький цветочек»); он в общем-то одинаков у всех и во все времена: любовь доброй красавицы должна расколдовать чудовище, превратить его в прекрасного принца (короля).

Обратный вариант («Шрек») уже игра современного ума, казалось бы протестующего против проекций, но на самом-то деле увязнувшего в них еще сильнее, как увязает подросток в том авторитете, который нигилистически свергает.

Миранда не смогла полюбить Фредерика – и стала его жертвой, а он лишился шанса стать расколдованным – и превратился в чудовище, уже совсем не сказочное.

Отцу Димона повезло больше – его сказка оказалась со счастливым концом: женившись на достаточно образованной и очень привлекательной девушке-блондинке с именем из Вертинского – Ирэна (помните: «Я безумно боюсь золотистого плена»?) и фамилией Белкис, вроде иностранной, но так приятно и по-домашнему напоминающей о пушистохвостом и любимом всеми обитателе русских лесов, отец моего мужа из простого некрасивого рабочего парня, вкалывавшего в ремонтных мастерских (параллель с мастерскими школы тут же проступает из-под воды памяти), превратился в известного писателя, который постепенно полностью стер личность супруги, сделав ее собственной тенью, душечкой, которая после его смерти не знала, как распорядиться своей бесплотностью, к кому определить ее в качестве тени, но в результате просто вскоре умерла.

Я любила ее тихую жизнь, тихий шаг, тихий голос. И часто вспоминаю «об этой жизни маленькой и строгой, о глубине колодезной воды». Лишенная матери, я нашла в ней недостающее: легкую, чуть холодноватую заботу и едва заметную родственную улыбку.

Как-то она сказала мне: после смерти отца он не притронулся к бумаге, ничего не писал, а женившись на тебе – снова начал. Она не смогла выразить иначе то, что хотела объяснить, но я поняла подтекст: в сыне как бы не было самостоятельной художественной плоти. Он тоже был тенью: дух писателя Сапожникова, точно умело водруженная художни-

ком в центр его натюрморта настольная лампа, порождал не одну тень, а сразу две. Но Димон, как бы проходя не свой путь, а путь отца, одновременно выступал и его главным соперником: так в спорте молодой и начинающий спортсмен порой сливается с образом старого чемпиона, чтобы на главной Олимпиаде своей жизни победить его.

Порой мне даже казалось, что Димон не просто подражатель в силу своего характера, но вторичен изначально по отцовскому замыслу: он как бы облаченный в материю слепок с его главных персонажей, взявший от каждого какую-то самую значимую для его отца черту, а потому, по сути, Димон просто вымысел, всего лишь идея сына – ставшая ове­ществленными рассуждениями Сапожникова о вечной проблеме «отцов и детей», всего лишь образ сына. Которого никогда не было.

И все годы нашей совместной жизни я была свидетельницей колоссальных усилий Димона по обретению им пусть небольшого, но своего дара: он мучительно продирался к нему через подражания, заимствования, и, возможно, ему удалось бы создать свой художественный мир, уже появились у него пустынные, но отмеченные каким-то незримым присутствием чего-то непознаваемого, экзистенциальной тоской небольшие рассказы, в которых оживали пейзажи тундры или тайги, но тут время повернуло к коммерции – и другая тяга моего мужа, идущая через мать от ее отца, сына купца второй гильдии, уничтожила в нем его стремление

обрести свою художественную суть. Он стал писать... женские романы, скрываясь за женским псевдонимом – и так как бы выполняя живущее в пространстве родительского дома нереализованное желание своей матери: она не хотела мальчика, она хотела дочь.

Потому что второй скелет его родительской семьи был нетипичным: отец Ирэны бросил ее мать, удрав с младшей сестрой жены. Бабушка Димона и крохотная Ирэна испытали все муки – и душевные, и физические, и материальные. И девочка не простила мужчин. Всю жизнь она несла в себе возмездие.

Когда Димон предал меня, призрак его деда мелькнул и скрылся. И тут же тень Ирэны накрыла своего сына и повела его за собой...

– Если бы у меня родилась дочь, – как-то сказала мне Ирэна, – походила бы на тебя. Мальчики все плохие.

* * *

Наделенная огромной способностью любить, в холодноватой Ирэне я тоже угадывала затаенную, заглушенную страстность, похороненную глубоко внутри.

А ведь и я ради любви готова была на все. Из-за первой влюбленности – в мальчика с чайкой бровей – я нарушила слово, данное другому однокласснику, тихому, хорошему мальчику, приславшему мне длинное, почти взрослое лю-

бовное письмо, в конце которого он просил не показывать письмо никому. Но, подхваченная водопадом чувства, я полетела вниз вместе с его бурлящим потоком – взяв письмо в школу, дала его прочитать тому, в кого была влюблена. Я хотела показать и доказать ему, что меня можно так сильно любить, ведь я не верила с предательства Дима-первого ни в себя, ни в верность.

Уже вечером того же дня, мучимая стыдом и раскаянием, я дала себе зарок: никогда – никогда! – не нарушать данного слова – ни ради другого, ни ради себя. Мне было двенадцать лет.

А мальчишка со сросшимися бровями (будто застыла в полете чайка по имени Джонатан Ливингстон) не стоил и ломаного гроша: уже через год, в тринадцать лет, он гнусно хвалился своими сексуальными победами, предавая девочек, которые доверяли ему свои первые чувства. И добавляя такие подробности, от которых мне делалось дурно.

Бравируя своим ранним эротическим опытом, он всегда победно глядел на меня. Ведь мы с ним так ни разу и не поцеловались. Но я уже не любила его. Стыд от нарушенного слова оказался сильнее влюбленности. Терзания из-за обиженного мальчика были мучительны. Больше никогда я так не поступала. Это был урок на всю жизнь.

Мой первый поцелуй случился поздно. Все заменили фантазии.

Но мощь своих чувств я почувствовала рано. Хотя, конеч-

но, еще не понимала, что судьба приготовила для меня двойную охрану: бабушку, проклятия которой я просто смертельно боялась, ведь моя мама часто, как в бреду, твердила, что ее прокляла родная мать и потому она скоро погибнет, и второго надежного стража – невозможность быть любимой по-настоящему в силу предательской природы тех, с кем связана будет в силу обстоятельств и чувств моя судьба.

Меня предавали все, к кому я начинала испытывать хоть малейшее чувство. Все. Без исключения.

На первом курсе института я влюбилась в старшекурсника-блондина, писавшего стихи, и у нас с ним стал завязываться роман: я тоже нравилась ему. Но чертеж личной судьбы, показанный мне на экране души в раннем детстве, поспешил обрести материю: я заболела и с высокой температурой попала в больницу, и пишущий стихи блондин прислал мне записку, что больше мы с ним встречаться не будем... Меня утешали женщины из моей палаты. Какие твои годы, говорили они, ты ничем страшным не больна, ты уже почти совсем здорова, на следующей неделе тебя выпишывают, встретишь другого парня, хорошего, а не такого подлеца. Но я уже чувствовала: не встречу. Хорошему парню нечто обязательно перекроет дорогу ко мне, и все для того, чтобы я не повторила трагический зигзаг своей матери.

Предательство как знак судьбы вошло надо мной, и, куда бы я ни пошла, луч этого знака касался кончиков пальцев моих ног.

И только после письма деда Арсения я поняла, что и первое, а потому самое болезненное для меня предательство, и все последующие не были следствием случайности или произвола отдельных людей. Сама судьба намеренно подбирала для меня тех, чьи черты характера и врожденный невеликий потенциал нравственности только способствовали действию все той же нашей родовой силы, которая должна была сделать меня свободной от любви – ради служения тому, что было главным в генетической матрице. Мне не разрешено было отклоняться от вектора, образованного и поддерживаемого иррациональной волей. А что будет в случае уклонения хоть на несколько шагов, я знала: стрелка рядом указывала на трагическую гибель моей собственной матери.

* * *

Как-то в порыве искренности Димон сам назвал себя спекулянтом. В пору нашей с ним околотирической дружбы он попытался загнать мне свой старый велосипед, запросив цену как за новый. Уже тогда я должна была насторожиться и предугадать, какой крах меня с ним ожидает.

Но то, что мы с Димоном поженились, никого из наших близких знакомых не удивило: о его вечной любви ко мне он с мазохистическим удовольствием трепал на каждом углу. Несмотря на двух предыдущих жен, с которыми он быстро расстался, потому что не было для него ничего более суч-

ного, чем нормальная семейная жизнь, он воспринимался окружающими как вполне положительный жених, и не только потому, что был сыном известного отца, но главным образом из-за склонности к лицедейству: он играл роль честно-го, бескомпромиссного молодого человека – ну прямо герой старых пьес Виктора Розова! – и для окружающих, и для отца, создавшего именно такой сыновний образ. Но было у Димона и нечто абсолютно свое – сильная волевая пружина, которая иногда выбрасывала его внезапно из коробки, точно игрушечного чертика, – в тот самый момент, когда в коробке оставаться было по какой-либо причине опасно. А чаще пружина служила гипнотической актерской власти: благодаря ей Димон мог внушить человеку все что угодно, главное ему было самому в это поверить.

Правда, оповещая знакомых о великой любви ко мне, Димон обязательно добавлял, что на самом-то деле любить ее нельзя, потому что она рыба. И почему-то это обязательное замечание еще сильнее убеждало его приятелей в большой и настоящей любви Димона.

Рыбой в разговоре с сыном на интимные темы называл его отец свою жену Ирэну. Драма, в которой я должна была сыграть главную роль, имела фрейдистский подтекст.

До женитьбы Димон мне часто звонил вечерами и читал эротические отрывки или из книг, или собственного сочинения. Я слушала, трубка запотевала, а Димон читал и читал; позднее он признался, что так готовил меня к преодолению

платонического барьера. Ну, это я так деликатно выразилась, он-то сказал проще: тебя, дуру, я так готовил к сексу.

Мне пришлось ему рассказать, что мой первый муж, художник с наружностью Делона, в отличие от прототипа, оказался субъектом с нетрадиционной ориентацией. Это Димону понравилось, он даже попытался узнать у меня подробности наших интимных отношений с бывшим мужем и, когда услышал, что не было ничего, кроме поцелуев, стал возбужденно рассказывать, как, будучи студентом еще технического вуза, поехал в каникулы в деревню на рыбалку с Галкой, которая была страстной рыбачкой. Вечером к ним пришел учитель физкультуры из местной школы, Галка куда-то вышла, а физрук вдруг обнял Димона и поцеловал в губы.

– Аж дрожь тогда прошибла, – добавил Димон.

И я поняла, что ему кажется привлекательным все необычное.

Он заезжал за мной на машине, если я просила куда-нибудь меня отвезти, но обычно мы болтались по околородским шоссе без всякой цели, просто ради самой дороги: я любила смотреть и на стрелы дождя, нападающие на стекла машины и стекающие благодаря дружным усатым «дворникам», и на стелющуюся по шоссе зимнюю поземку. А осенью было вообще кататься волшебно! Лес, этот бунинский расписной терем, был так красив, что можно было подолгу ехать молча, впитывая в себя красоту мира...

Как-то раз он свернул с шоссе на проселочную дорогу...

Как раз стоял чудный сентябрь.

Машина была красной – и здорово гармонировала с красно-желто-зеленой листвой.

* * *

Вообще легковушки у него менялись каждые полгода – и подозрительная старуха соседка с первого этажа нашего подъезда как-то заметила, прищурившись: была вот еще недавно синяя машина, а сегодня твой жених на желтой. Год, оставшийся в памяти страшным скачком цен и ветром налетевшей свободы, не коснулся представлений старухи о допустимом количестве машин у положительного гражданина страны – только одна! – и, возможно, она бы сигнализировала о факте куда следует, если бы не моя случайная реплика, что машины эти не Димона, а его отца. Имя писателя Сапожникова было на слуху, и в силу большой известности ему многое разрешалось. Писатели еще массово считались уважаемыми людьми.

Инцидент был исчерпан. Старуха забралась обратно в свою нору.

Я не затаила на нее зла в силу абсолютной беззлобности своей натуры. И обиды не затаила тоже, хотя от природы обидчива: эта старуха однажды спасла меня от мучительной роли невольного свидетеля преступления.

И тогда тоже стоял чудный сентябрь. Иногда в нашем

подъезде кто-то открывал вторую дверь, ведущую не во двор, закрытый со всех сторон домами, а в старый сад, соседствующий с кирпичным одноэтажным домом еще одной старухи, дочь которой, нимфоманка-алкоголичка, была всегда в бегах, и горбатая ее мать растила трех внучек. Про нее поговаривали, что она перепродает краденые вещи.

В центре сада белел мертвый фонтан: дом в сороковых годах прошлого века относился к какому-то крупному государственному ведомству, и время в саду точно остановилось.

Я только успела выйти из подъезда в сад, как меня окликнула из окна первого этажа блюстительница автомобильных законов и попросила зайти к ней на минутку. Я удивилась. Никогда никто из взрослых обитателей нашего подъезда не зывал меня к себе домой. Но отказать было неудобно, и я зашла. Квартиру не помню – что-то салатное, геометрически правильное – помню запах: старуха приготовила краску для волос и попросила меня окрасить ей волосы на затылке.

Ненавидящая прикасаться к чужим людям, более того, избегающая прикосновений даже к своей родной бабушке, я все-таки не отказалась – но проделала все с молниеносной скоростью. И поскорее ретировалась. Сад был полон милиции. За эти десять минут, что я потратила на превращение седых старушечьих прядей в ярко-блондинистые, в нашем саду успели застрелить молодого мужчину: подъехала черная машина, из нее выскочили пять человек, несколькими выстрелами уложили на месте одного, и уже вчетвером быст-

ро заскочили обратно в машину и умчались. На убитом были темно-синие брюки и белая рубаха.

Рядом с милиционером стояла горбатая старуха из кирпичного дома – то ли свидетельствовала, то ли подозревалась в причастности. . . Вскоре она умерла, внучки ее разлетелись по свету; одна из них, младшая, краем рукава задела меня: парень, бросивший меня, попавшую в больницу, на ней женился.

А дом, закрытый со всех сторон высокой оградой, в начале нашего века стал офисом какой-то фирмы.

Красное на белом до сих пор пугает меня.

* * *

– Заскочим на минутку на дачу, – сказал Димон.

Листья, вспыхнув, взлетали и гасли. Красная машина легко летела по совершенно пустому шоссе. Димон свернул с главной автострады на малоизвестную, параллельную ей дорогу, которую с двух сторон обступал лес.

Мы с Димоном молчали. Он включил музыку, а мне вспоминалось одно старое стихотворение: сквозь лес летит красный мотоциклист и поджигает лето. И гаснут, гаснут, на миг вспыхнув, глупые бабочки, столкнувшись в темноте с его светящимся стеклом. . .

Дача была старой, даже не огороженной. Только разросшаяся смородина ограждал участок, довольно большой, но

совершенно неухоженный. И вокруг дома красиво, как бра-
вые гусары, стояли еще не увядшие гладиолусы.

– Отец не любил дачу, – сказал Димон. – А для матери
это все. Но сил у нее хватает теперь только на цветы. Даже
ее любимая облепиха пока не собрана.

– Давай соберем.

– Я ей передам – если согласится, приедем специально... –

Мое предложение воспринял он достаточно вяло.

– А что, может не согласиться?

– Может. Она ревнучая. Облепиха – ее фетиш.

В холодильнике оказалось шампанское. И после двух бо-
калов Димон резко попытался перевести отношения из пла-
тонических в эротические.

– Я что тебе зря по вечерам читал «Камасутру» и про-
чую учебную литературу?! – шутя, но с долей раздражения
от моей несговорчивости произнес он, прекратив попытки
стянуть с меня свитер: горлышко его было таким узким, что
я сама с трудом натягивала его через голову.

Мне как-то сразу стало ясно, что и шампанское в дачном
доме, и чисто убранная постель с букетиком полевых цветов
на тумбочке рядом, и оказавшаяся в холодильнике еда были
частью вполне продуманного плана, а не случайными удач-
ными деталями, однако Димон солгал, что вот как удиви-
тельно, случайно завалились, а в домишке все есть, даже его
любимая колбаса, финский сервелат, все так хорошо, значит,
приезжала мать.

– Э-эх, – сокрушался он, – я ведь сразу знал, что ты рыба!

* * *

Лгал он мне потом всегда. В этой фразе ударение не на местоимении «мне», а на психологически непробиваемом слове «всегда». Димон просто любил лгать. Любил изменять. Любил обманывать. Я же спекулянт, в редкие минуты честности снова повторял он, во всем спекулянт.

Когда после двенадцати лет брака он поселился в отремонтированном деревенском доме на Оке и я сказала, что разрешаю ему и свободу сексуальную, ведь без романов и романчиков он просто не сможет писать свои рассказы, мои слова вызвали у него сильный протест. Он принялся убеждать меня, что никогда мне не изменял и не изменит.

Разрешенная свобода была ему не нужна.

И, посчитав, что убедил меня в своей верности, он начал перебирать аппетитных пейзажиков.

Ложь и обман были не только его допингом, но и одним из самых сильных психологических удовольствий. Однако, воспитанный в духе советского пионерского кодекса, намертво связавшегося у него с непоколебимым авторитетом отца, он в основу жизни вынужденно положил ложь фундаментальную, о которой я уже рассказала, но повторю: для отца, умершего за два месяца до нашего с Димоном бракосочетания, он, точно соответствуя образу, отцом и созданному, упор-

но играл роль кристально честного, неуживчивого, принципиального молодого журналиста, исключительно из-за своей честности не способного удержаться ни на одном месте работы и вынужденного жить одноразовыми гонорарами, чтобы прокормиться, а на все остальное занимая деньги у отца. Образ требовал овеществления, роль – подтверждения. И Димон и в самом деле, то конфликтовал с редактором очередной газеты, то, во дни отпуска начальства, публиковал что-то эпатажное. Вернувшись, редактор или его зам, конечно, Димона увольняли. Когда рухнет наконец весь этот советский идиотизм, кричал уволенный Димон, дискутируя с моей бабушкой, которая занимала позицию дипломатическую, но лояльную по отношению к протесту против власти моего приятеля. Димон ей нравился. Мой высокий рост казался бабушке недостатком, сама она была ниже Димона и воспринимала его как молодого красивого мужчину. А мне он казался то Маленьким Муком, то Коньком-горбунком, то добрым клоуном... Я любила, словно четки, перебирать возникающие образы: на него легко было проецировать разное, ведь, по сути, он был лицедеем, и я всегда жалела, что он не выбрал театр или кино, а стал журналистом и писателем.

Вскоре СССР рухнул, и Димон стал яростно ругать новый строй и новую власть. Он всегда был против. Неважно – кого или чего. Главное – само направление вектора. Все, си-некура кончилась, теперь орал он, раньше займу денег у ба-ти на машину, куплю очередную в Москве, некоторое вре-

мя езжу на ней, а потом перегоню во Владивосток или в другой далекий город и там продам. На разницу между суммами купли-продажи неплохо существовал с полгода, а долг, как неразменный пятак, возвращался отцу. А теперь все! Батя нищий! Материны сбережения обесценились! Я уже индивидуальное предприятие зарегистрировал – придется начать торговать!

К слову замечу, что отец Димона писал кроме другой прозы еще и детективы, в которых разоблачал и осуждал советских подпольных спекулянтов. Слава его была связана именно с детективным жанром.

Родительская семья твоя, Димон, всегда жила двойной моралью, как-то заметила я, провозглашением советского идейного бесребреничества и восхищением прадедом, богатым купцом, который торговал всем чем мог – от швейных машинок до шкурок кроликов...

– Все так жили! – огрызнулся Димон.

Менее всего двойной морали была подвержена сама Ирэна: она никогда не декларировала свои «советские взгляды» и не скрывала вполне обычного, обывательского уважения к богатству. Она показывала мне фотографии своего отца, купеческого сына, и рассказывала, на какую страшную нищую жизнь обрекла ее мать и ее, девочку, его коварная измена.



Революция 1917 года прошла по всей семье Белкисов: две сестры бабушки Ирэны стали проститутками в Шанхае, брат бабушки погиб, будучи призван в белую армию. Еще один дядя Ирэны пропал без вести в ту же Гражданскую; Ирэна всю жизнь верила, что он жив, и ждала, что, скончавшись в какой-нибудь Аргентине, именно он – именно ей! – оставит завещание. Наследство было второй ее идеей фикс, после облепихи.

Оба этих слова – «облепиха» и «наследство» – Ирэна произносила тихо, но с настоящим трепетом – это было очень заметно, как волны от моторной лодки на совершенно гладком озере. Слово «наследство» звучит для моей матери поэтичней, чем «Я вас любил» Александра Сергеевича Пушкина, однажды пошутил Димон, это отец – обличитель пороков богатых людей, мать бы не отказалась от дорогих ковров, шуб и украшений – но батя против всего этого.

Однако старик Сапожников любил рассказать, как бы шутя, когда единственный раз в году, на его день рождения, собирались гости, о сокровенных ожиданиях своей супруги, ждущей подарка от пропавшего в Гражданскую войну старого богатого дяди, тут же вспомнив знаменитую песенку про тетю из Фингалии Галича, о котором кто-нибудь из старинных приятелей дома сразу говорил что-нибудь неллицеприят-

ное. Как я понимала – на всякий случай, Россия все-таки, кто знает, чего ждать? Сапожников пропускал реплику о Галиче как бы мимо ушей. Программа дней рождения из года в год почти не менялась. Когда Сапожников умер, оставшиеся в живых старики, собравшиеся на сороковой день, чтобы почтить его память, говорили почти то же, что при нем, хвалили его книги, вспоминали знаменитую песню на его стихи, обсуждали фильм с его участием.

И вдруг Димон, опорожнив очередную рюмку, произнес фразу, изумившую всех и в первую очередь меня.

– Когда помру, за мое наследство будет борьба... А вот батя мой писал книги – и другого наследства не оставил, так-то, мать. И дядька твой так тебя и не нашел.

– Э-эх, – тихо сказал старый критик Рабинович, издавший о творчестве писателя Сапожникова крохотную брошюрку, – тебе еще рано о смерти думать... Но, как понимаю, ты в бизнес норовишь уйти, так, что ли? Сейчас модно стало торговать.

– Да выпил он слишком, – совершенно спокойно объяснила Ирэна. – Я внучка купца второй гильдии. Есть в кого.

В стране уже появились первые официальные миллионеры, а депутаты стали покупать себе дворянство и даже титулы. И многих охватил интерес к собственной генеалогии. Но старик Сапожников так и умер крестьянским сыном. Развал социализма не подтолкнул его к поиску иных предков. Генеалогией семьи Сапожниковых-Белкисов занялась я, когда

родилась дочь – Арина.

На самом деле предки Сапожникова были потомственными бийскими казаками. Я нашла в сохранившихся списках казаков бийской линии даже его прадеда. Но простые казаки часто сами крестьянствовали, и то, что для советской власти Сапожников выбрал только хозяйственную часть биографии предков, вполне объяснимо и простительно. Но мне нравилась честность Ирэны. И все-таки не вызывала уважения подчеркнуто советская позиция ее мужа. Я чувствовала внутри прочной скорлупы его убеждений отсутствие орехового ядра – компромисс всегда полый изнутри, а я была еще очень молода, чтобы простить старика, пропустив его жизнь, как поезд, через страшный туннель российского XX века. И старик Сапожников улавливал не сильно приятное мое к нему отношение и платил мне тем же.

К тому же я в одну из первых встреч обыграла его в шахматы.

* * *

Иногда я сама звонила Димону, чаще – он.

– Привет! Покататься не хочешь?

Я любила поездки с ним. Обычно, выехав из мегаполиса, мы совершенно бесцельно мчались по какому-нибудь шоссе, иногда разговаривая в пути, а порой и молча. Молчание не было для нас тягостным. Иногда он напевал: не имея ни

слуха, ни голоса, петь при мне он совершенно не стеснялся. Он вообще был лишен застенчивости – не только потому, что был сыном известного отца, но и от рождения. Если я в детстве пряталась от навязчивых взрослых гостей в шкаф, а в первом классе на новогоднем празднике от робости таким тихим шепотом прочитала стихи про елку, что никто ни одной строки не услышал, то Димон был моей полной противоположностью: его актерская сущность требовала внимания к себе и бездонную бочку сильнейшей потребности быть на виду заполнить было практически невозможно – Димону хотелось еще и еще.

У него имелся единственный комплекс – невысокий рост. Каблуки мне пришлось забыть, и, когда мы поженились, я стала сильно сутулиться. На одной фотографии, где Димон стоит рядом со мной, я сгорбилась так, что оказалась ниже Димона. Впереди нас стоит на фото двухлетняя Аришка: ребенок с длинными ресницами и крупным ртом, унаследованным от меня.

Но если маленький рост в ранней юности мучил его, потом, наоборот, он стал придавать ему азарта в достижении той или иной цели, а не сковывал, как сковывала меня моя робость и неуверенность в себе.

Социальные маркеры, престиж и достаток семьи очень много значили для Димона, хотя он всегда яростно декларировал обратное. Главным социальным маркером был статус отца, главным материальным – квартира и то, что в ней.

А мой отец давно жил отдельно с женщиной, которая не захотела стать для меня ни матерью, ни даже мачехой. Я была всего лишь внучкой бабушки-пенсионерки. Правда, мою бабушку многие знали: ее известность как журналиста превысила ее рабочий стаж; поздравить старую даму, порой выпивающую рюмку коньяка и выкуривающую сигарету, приезжали ее ученики, звезды-репортеры и два известных писателя, один из которых называл ее своей крестной матерью в литературе: она первой заметила его дарование. Но для Димона, обитающего в трехкомнатной квартире в центре, сама наша крохотная двухкомнатная квартирка в доме полубарачного типа казалась позорной и убогой, а отсутствие отца делало меня в его глазах социально горбатой.

Но не меньшую ценность для Димона имели три другие составляющие: родословная, талант и красота. Это шло от семейной мифологии. Больше от Ирэны. Его двоюродный дед, дядя отца, XX век встретил прапорщиком и, если бы не революция, сделал бы неплохую офицерскую карьеру, да и дед матери, купец второй гильдии, в их советской семье тоже занимал почетное виртуальное место, правда, для посторонних его до конца восьмидесятых прятали за шторку. Ирэна считалась красавицей, а отец обладал литературным даром. Вот и все точки, на которых держалось полотно Димоновых пристрастий: статус (отец), родословная (предки), богатство (прадед-купец), красота (мать), талант (отец).

В подтексте оставалась повышенная чувствительность ма-

тери (запахи она улавливала с какой-то экстрасенсорной чуткостью), ее холодность как женщины и темный момент в юности отца, о котором Димон только раз проговорился, и то не очень уверенно, скорее просто задал вопрос – было ли? – вроде отец в молодости, только сев за руль, сбил на дороге девочку лет десяти и уехал, не остановившись. Его не нашли. Было это или придумалось самим же Сапожниковым и, не вставленное в очередной рассказ, осталось в пространстве дома – и постепенно для сына, услышавшего рассказ о несчастной девочке еще ребенком, стало обрастать оболочкой правды? Не знаю. Важно то, что Димон предполагал, что его отец мог совершить такой поступок. Я мало знала Сапожникова, но, приглядываясь к старику, сделала собственный вывод: поступить так он все-таки не мог. «Не мог?» – переспросил Димон, и я увидела: мое мнение его обрадовало – рассказ про девочку, оставленную лежать на пустом шоссе, его тяготил.

* * *

Летом Димона обычно в городе не было: он устраивался на сезонную работу, чтобы написать для журнала большой очерк – о нефтяниках, геодезистах или строителях. Это примирало его родителей с отсутствием у сына постоянного места службы и стабильного заработка. Но даже как сезонник он больше двух месяцев нигде не выдерживал. Очерки, то

есть «писательство», оправдывали для родителей его спекуляции машинами. Отец называл это «вынужденной мерой» и часто друзьям жаловался, не без нотки гордости, разумеется, на честность и как следствие – неуживчивость сына. Ирэна, когда-то оказавшаяся выигрышным билетом простого, некрасивого, но незаурядного парня, давно только повторяла слова и жесты мужа и всегда казалась мне светлой его тенью, тихо ступающей по чистому дому. Была она прекрасной хозяйкой и кулинаршей, но слишком экономной: даже в период их материального благополучия (конечно, по советским меркам) оставшиеся суповые кусочки картофеля старательно вылавливала ложкой с дырочками и, размяв со специями, добавляла полученное пюре в мясной фарш, чтобы приготовить из него картофельные зразы. Сметану в их доме вообще есть было опасно: она могла стоять неделями, а после быть добавленной к борщу. Но сок из собственной садовой облепихи получался у нее наивкуснейшим. Я пила его на семейных днях рождения с огромным удовольствием; сейчас бы шустро объяснили на каком-нибудь сетевом форуме, что мне просто тогда не хватало витаминов.

Осенью вдоль шоссе, медленно покруживаясь, тихо падали и ложились на землю листья и, когда проносилась наша машина, самые близкие к шоссе вспархивали вновь и вновь оседали; тихие жалобные вздохи листвы заглушал ход машины.

А зимой я любила смотреть на вьющуюся по заснеженно-

му шоссе белую кружевную шаль метели. Любила, когда заметает шоссе снег и сквозь все сгущающуюся пелену смутно светят огоньки тянущихся вдоль дороги домов... Зачем, почему мы должны были промчаться мимо этих чужих жизней, которые пролетят незримо для нас?.. Кончался девяносто третий год, мне было чуть больше двадцати. Я увлеклась буддизмом. И светлячки чужих судеб стали казаться мне просто напоминаниями о прошлых жизнях: возможно, мы были знакомы с обитателями этих домишек, утонувших сейчас в метельной мгле...

Димон тоже любил дорогу. И машину водил виртуозно. Правда, иногда... задремывал за рулем! Разумеется, с последствиями. Но, защищенный мистической уверенностью, что с ним на дороге ничего не случится, попадая в легкие и тяжелые аварии, Димон чудом оставался не просто живым, но даже без травм, даже без единого синяка! Объяснял свою везучесть на дорогах он видением: возвращаясь зимним вечером десятилетним мальчиком из музыкальной школы, он внезапно, подняв голову, заметил, что его гигантская тень с папкой в руках шествует над ним по сизым облакам. В какой-то из книг он вычитал позже, что увидевший в небе свою тень скончается в своей постели в глубокой старости.

– Но я своим характером сократил свою жизнь на несколько десятилетий, – говорил Димон с горечью, – мать рассказывает, характер у меня в ее деда. Я и в животе ее толкался и пихался, она еле выдерживала. А когда родился, так стре-

нительно выскочил, что упал в таз и сломал ключицу...

– У новорожденных еще все мягкое, – удивлялась я.

– Не знаю. Но ключицу мне загипсовали, отчего рука одна торчала в сторону, точно крыло. И нянька, когда приносила ей меня кормить, говорила: вот ваш однокрылый самолетик прилетел. Рост у меня оттого сократился: два позвонка погибли из-за гипса. Я был бы на десять сантиметров выше. – Он досадливо морщил длинный нос. – Мать же была химиком, работала во вредной лаборатории. Отец всегда шутил: я дитя полей, а ты дитя химии.

Аварии, в которые он попадал, Димон объяснял тоже мистически. То есть он признавал, что заснул за рулем, но само засыпание считал следствием причин гораздо более сложных и тонких, чем обычные физиологические. На моей памяти он попал в четыре аварии. Про первую он сказал так: пожадничал, слишком дорого продал предыдущую машину, вот и наказание – на ремонт этой все и ушло. Остальные три он объяснил моими обидами на него.

– Я наорал на тебя, когда уезжал, мы плохо расстались, а твое отчаяние – это что-то, оно такой силы, что может машину перевернуть. Вот я под Уфой и влип... Когда Серега подбежал и увидел, что машина всмятку, он был уверен, что и водителю каюк, а я без царапины даже, как-то голову просунул в открытое окно, сжался весь. Чудо, одним словом. Ящик белого сухого вина вез бате для дня рождения, все бутылки вдребезги, вся машина им пропахла... Меня стошни-

ло, когда парни подняли капот.

Белое сухое вино он не пил больше никогда. Только красное.

* * *

Когда мы поженились, Димону приснилось, что он катится на санках вниз со снежной горы, но не один, а с подружкой детства Галкой, метель, они еще дети, и он влюблен в нее, и, как в рассказе Чехова, его признание теряется то ли в метели, то ли в душе... Горка кончается, и они оказываются у большой реки.

Галка и жила у большой реки, уехав из города в деревню. Как шутил Димон, была первой в стране дауншифтингисткой. Когда Аришке исполнилось двенадцать и Димон стал большую часть времени проводить не в городе, а у большой реки – в отремонтированном доме (он называл его и двор усадьбой), я вспомнила его сон. Только реки оказались разными. А жаль. Ведь Галка была – если распределять женщин его жизни по ролевым ячейкам – его половинкой. Без сомнения.

Первая жена стала его первой женщиной, вратами в Эрос, вторая – вратами в столицу и освобождением от комплекса роста. Третья, то есть я, – феей, превратившей его в удачника.

Но его половинкой была она – черноволосая танцовщица,

на четверть цыганка, преподававшая в деревенской школе английский язык.

Каждую субботу и воскресенье Димон проводил у нее. Она была третий раз замужем. А ее сын в начале девяностых уехал в Калифорнию.

– Она мне первая показала грудь, – как-то признался Димон, – но секса у нас так и не было. Хотя сколько раз у нее ночевал – но она всегда была замужем и мне доставалось только быть свидетелем ее постельных сцен. Галка никогда меня не стеснялась. Ей даже доставляло удовольствие, когда мы были лет двадцати, рассказывать, как ей было хорошо со своим очередным.

Она истинно женским чутьем угадывала, что Димона, как всякого спекулянта, влечет только чужое, подумала я, то, что имеет ценность для других и чем хотелось бы овладеть.

– Мы с ней чуть не поженились, но у нее уже был трехлетний Женька, она гуляла по-черному, просто из постели в постель, и, когда ее родители (отец – режиссер, а мать – бывшая балерина) предложили нас поженить, мол, ведь видно, вы созданы друг для друга, – она отказалась. И я всю жизнь думал: все-таки почему? Почему она отказалась? И решил: Галка меня просто пожалела, не захотела сваливать на меня себя проблемную, и Женьку, и мать свою, которая в то время уже не вставала – отец ее верно и преданно за женой ухаживал, поразительный был человек... Галка – моя первая любовь.

– Она – твоя половинка, – сказала я тогда осененно. – Вы так похожи. И она хотела, чтобы ты любил ее всю жизнь.

Я не стала добавлять, что Галка просто боялась: стань они мужем и женой, Димон бы поскучнел, начал ей изменять. Но зря Галка этого опасалась: Димон ее бы все-таки не разлюбил, он бы вошел в роль ее отца, любившего ее мать всю жизнь, – и вот здесь таилась для Галки настоящая опасность, потому что мать в сорок лет стала лежачей больной, получив тяжелую травму во время репетиции балета «Щелкунчик», и, если бы проекция ее отца оказалась сильнее других, Димон бы и ее, Галку, сам того не желая, превратил в инвалида.

Личность его достраивалась с помощью чужих блоков, но пружину воли он имел железную.

– Может быть, все сексуальные связи и мужья Галки были только ее подсознательным способом убежать от судьбы матери? – спросила я Димона уже после смерти Галки. – А любила она только тебя?

– Я думаю, да. Но мать моя ее терпеть не могла. – Он помолчал. – Считала лживой. У нас в семье батя ввел культ честности. А Гала ведь была из тех, кого если попросить вымыть посуду, они как бы случайно забудут вымыть сковородку. Чтобы не возиться. Да и вообще Галка всегда врала. Цыганская кровь! Я даже не уверен, что ее Женька от того мужика, который дал ему фамилию. Артистка! Обожала внимание к себе, оттого и развела хвост любовников. А я был у нее вечный. Потому она мной не сильно дорожила.

Димон ушел в соседнюю комнату и принес альбом. Я с интересом стала рассматривать фотографии: вот Димон в бархатном костюмчике, под воротничком бант, удлиненные локоны, длинные ресницы... Принц. Или...

– На девочку ты был сильно похож. – Я улыбнулась. – На принцессу.

Я говорила ему это не раз, чувствуя, как ему приятно слышать, что он похож на очаровательную девочку.

– Потому я и выжил. Мать ненавидит мальчиков.

– А это – Галка?

– Да. Ей здесь семнадцать. Они только что вернулись из Египта, отец ее ставил там балет. Хорошенькая была – жуть! – Он запнулся о последнее слово. – Точнее, это она потом стала жуть какая страшная. Какая-то болезнь: лицо за несколько лет стало просто безобразным.

В его голосе слышались мне нотки тайного торжества. Программа возмездия, не реализованная Ирэной, перешла к нему, но сменила объект, на который была обращена.

– А тело сохранилось: тугая такая была, она ведь до самой смерти танцевала в деревенском клубе, учила танцам девочек.

– Да, на фото просто чудная!

– И всегда рой любовников вокруг. И я – как грустный верный клоун.

Так вот кто тебя превратил в клоуна, подумалось мне, твоя первая любовь. И вспомнила, что бабушка клоуном на-

зывала моего собственного отца.

* * *

Увидала я Галку впервые через полтора года после нашей с Димонем женитьбы: она ехала к сыну в Америку и два дня провела у нас, пока оформляла в Москве документы. Мы понравились друг другу: она мне – своей спокойной доброжелательностью и умом, я ей – скорее всего, тем, что признала ее женский приоритет – она почувствовала, что ей отведено место единственной любимой женщины Димона...

В ее смерти Димон винил себя. Потому что наделен был, пожалуй, самой привлекательной для меня чертой – совестью. Но власть совестливости над его жизнью была не сознательным нравственным ориентиром, а каким-то мистическим, внезапно проявляющимся самоистязанием – грозившим именно возмездием.

– Если бы Серега не разбился, не погиб, Галка бы жила и жила: он был ее опорой. А так осталась одна, нашла какого-то алкаша, все силы на него угрохала, чтобы он завязал с алкоголем – и вот... Сердце стало подводить. Как еще в клубе танцевала, не понимаю. Мужественная была.

Третий муж Галки Сергей разбился, перегоняя из города в деревню старую японскую иномарку, которую Димон подарил им с Галкой.

– Он уехал, – Димон мрачно сморщил скульптурный

люб, – меня такая жадность обуяла. Жалко стало «короллы». И жадность моя была в тот момент такой силы, что кошмар. Вот он и столкнулся на шоссе с грузовиком. – Димон, говоря, начал бегать по комнате: он никогда не мог усидеть на одном месте, если нервничал. – Он уехал, а я стал о них думать, Галке сразу всех ее мужиков припомнил, свои страдания, ее насмешки... В общем, это я виноват в его гибели. Совесть меня гложет, что я такой жлоб. Спина вот от этого, наверное, стала болеть – вчера час встать утром не мог. Я и на предприятии денег народу жалею. Тяну с зарплатой, пока они не взвоют.

Обладая очень быстрой реакцией, скорее всего, доставшейся ему от предков – сибирских казаков, Димон одним из первых зарегистрировал и свое ИП – индивидуальное предприятие и ООО. Но индивидуальное предприятие, кстати, так и осталось пустышкой. Когда родилась Аришка, у Димона не было ни работы, ни денег, но я внезапно получила в подарок от старой знакомой моей бабушки, вдовы члена-корреспондента – хирурга, срезавшего у пациентов горбы, старинное бриллиантовое кольцо, мы сдали его ювелиру за приличную сумму, и Димон, став директором своего ООО, начал бизнес.

* * *

Именно тогда он меня и попросил: сними с меня про-

грамму неудачника, ты сможешь. Надо заметить, что Димон и здесь был не до конца честен. В глубине души он не верил в рациональную психологическую помощь, он верил только в мистическую удачливость, которую видел во мне. И в самом деле, чем еще можно объяснить поступок отца, внезапно явившегося через двадцать лет и подарившего мне двухкомнатную квартиру в самом центре? Или свалившийся на меня ни с того ни с сего ювелирный антиквариат? Или внезапный звонок с предложением бесплатной персональной выставки? Я-то все объясняла иначе: в отце угадала чувство вины, все-таки мой отец был хорошим по душе человеком, а в старой подруге моей бабушки – надежду: если вдруг она не сможет ходить, будет кому за ней ухаживать. Ее подарок намекал, служил авансом... Но суеверный разум Димона бежал от таких трезвых трактовок. Даже признавая их как причины, он, заглядывая за них, предпочитал увидеть не пустоту, а магическую тень необъяснимого, в моем случае – необъяснимой удачливости. Которую Димон и решил прихватить. Но решил это сделать не привычным для него способом – простого захвата, а с помощью хитрого магического договора, о котором он сразу знал, что с его стороны это обман. Скрытая пружина обмана сводилась к следующему: я сама должна была отдать Димону свою удачу, как бы добровольно. Ведь я согласилась снять с него программу неудачника, а снять ее, полагал Димон, с помощью обычной психологии невозможно, можно только обменять: ты мне свою

удачу, я тебе свою неудачливость, ну, еще можно удачу просто украсть. Но я, как честный спекулянт, предлагаю честный обмен, а значит, все компенсирую: то есть ты мне отдаешь свою удачу, а я тебе и Аришке создаю неплохую жизнь, но в остальном, увы, удача тебя покинет, поскольку перейдет ко мне. Так он рассуждал. В условиях распада, крошечных зарплат, которые не платили месяцами, такой обмен Димон считал хоть и обманом, но вполне справедливым. Правда, с некоторым оттенком дьявольщины: православные люди, к которым он, не так давно крестившийся, стал относиться себя, могут ведь получить удачу только с Божьей помощью, а не путем сомнительных парапсихологических сделок. Но я не увидела в сделке ничего опасного, надеясь просто вселить в Димона уверенность, вот и все. Однако, как ни странно, вскоре меня и точно постигла служебная неудача: галерея, где я работала, закрылась, и я попала в полную финансовую зависимость от едва оперившегося, только-только встающего на ноги нашего ООО. И это Димону доказало: обмен произошел.

* * *

Старик Сапожников всю жизнь придерживался кредо: искусство должно быть искусственным. Работал он, как я уже упоминала, в жанре приключенческой литературы, писал фантастику и детективы. Народ его книжки раскупал за два-

три дня. В самом известном его романе, постоянно переиздаваемом, действовали геологи и, конечно, положительный герой был антистиляга, носил только штормовку и парусиновые штаны, а за плечами у него постоянно тяжелел старый рюкзак. Мне-то и сейчас нравятся такие люди: я дочь геофизика. И Димон во время нашего с ним знакомства так и одевался. Правда, штаны у него были какого-то странного клоунского цвета – темно-оранжевые.

Вступив со своим отцом в мифологическое соревнование с фрейдистским акцентом, Димон, однако, пошел не его путем, наоборот, он полностью отверг в собственном творчестве фантазию, провозгласив себя реалистом, даже не в литературоведческом смысле, а в журналистском: он считал своим долгом фиксировать реальные события и писать о знакомых людях неприятное.

Я-то понимала: его кредо носит самозащитный характер, Димон придумывать просто не умел. Но, буду справедливой, он умел думать, умел описывать – и очерки-рассказы, в которых он передавал собственные впечатления от путешествий (а Димон путешествовал много и часто) и свой собственный опыт, надо признать, получались у него интересными. Даже порой сквозь его косноязычие вдруг пробивались лучи поэзии.

Побродил Димон с рюкзаком и рваной палаткой по тайге, шагая, как человек осторожный, вдоль железнодорожного полотна, излазил тундру, Север, а всю Сибирь знал так,

что мог бы составить путеводитель по ее малоизвестным местам...

Путешествуя, он как бы становился положительным героем из романа своего отца и даже говорил его словами, но с отцовскими интонациями. В такие моменты мне вновь казалось, что никакого Димона на самом деле нет, есть всего лишь мозаика из художественных персонажей, двух-трех образов предков и нескольких многократно уменьшенных отражений значительных фигур литературного мира. И всех людей, которые оказываются с Димоном рядом, он видит только через два окошка бинокля: первое – семейная мифология, второе – проекции; а с живыми людьми просто не взаимодействует – он улавливает их особенности, их черты, но, уловив нечто ему близкое, проецирует на человека какой-то образ, тем самым попадая в чужую колею, которая может оказаться обычной прямой линией, а может разветвляться до очень сложного и запутанного лабиринта с Минотавром, скрывающимся где-то в самой его глубине.

В своих детективах отец Сапожников разоблачал спекулянтов и ворюг. И через какое-то время я поняла, почему покупка сыном машины за одну цену и продажа ее за цену, превышающую первую, спекуляцией в семье не считались: это была как бы вынужденная мера – ради спасения писательского дара Димона, а в то, что сын талантлив, старик Сапожников верил свято. Не утратил он до конца своих дней веры и в абсолютную честность Димона. Даже ко-

гда узнал, что Димон стал предпринимателем. Впрочем, купец Белкис, дед Ирэны, тоже был для старика Сапожникова вполне положительной фигурой. Так отчего же, спросите вы, он разоблачал в книгах спекулянтов? Ответ на этот вопрос в истории, точнее, в том, что в данный момент истории обществом оценивается как положительное: до 1917 года купечество было вполне признанным, а при наличии капитала и меценатства – и уважаемым социальным слоем. Многие купцы становились почетными гражданами, занимались благотворительностью, состояли попечителями учебных заведений, а вот спекуляция в Советском Союзе подвергалась уголовному наказанию. И писатель Сапожников всегда был законопослушным. Димон же бунтовал, ругал коммунистов и продавшихся им писателей; бунт его носил характер инфантильный: именно отца с его советской идеологией необходимо было победить.

Все отцовские принципы Димон вывернул на изнаночную сторону: старик скрывал свое «я» за вымышленными персонажами – Димон вытаскивал из своей души и своего опыта все, что могло эпатировать читателя; старик отрицал власть сексуального, уничижительно в разговорах с сыном отзываясь о плевке-сперматозоиде, – Димон стал фрейдистом; старик всю свою жизнь любил только одну женщину – Ирэну, Димон желал – и не скрывал этого! – любить всех.

Было заметно и другое: старик Сапожников относился к славе, в общем-то, равнодушно, она сама нашла его и сама

не оставляла в покое, часто даже досаждая. Писать, уединившись в своем кабинете, в котором мебель и книжные стеллажи были сделаны им самим, плотно закрыть все форточки, а после на принесенной в кабинет электроплитке самому себе сварить какой-нибудь травяной суп и снова писать – вот как жил отец Димона. Он не любил давать интервью, даже отказывался от участия в телепередачах... Это был замкнутый интроверт, декларировавший свое полное согласие с советской властью (которую Димон в яростных спорах с ним обличал) скорее не из уважения к существующей в данный момент власти, а ради сокрытия своего подлинного «я», которое проступало в подтексте его книг. Возможно, он прятал себя и от себя самого. Как многие. В сущности, старику Сапожнику было все равно, какое время на дворе и кто руководит страной – главное, чтобы он мог, натянув на бугристую голову свой старый берет (он не любил сверкать кактусоподобной лысиной), закрыться от всех, имея на обед всего лишь травяной суп, стакан чая и какой-нибудь полусохший бутерброд, и писать, иногда поднимая голову и вспоминая, что его любимая тень ходит сейчас по квартире или собирает на даче облепиху...

* * *

А Димон страстно мечтал о славе и однажды, решив теорему своей судьбы, – это его собственное выражение, – сде-

лал вывод: судьба ему лично не даст ничего, но она разрешает ему отнять. Главное, не перейти предел, не отнимать столько, сколько не позволяют. Но за отнятое – тем, у кого отнято, – должно быть уже заплачено. Кто эти непозволяющие и разрешающие, Димонем не уточнялось: они есть – и всё. Такой информации ему было вполне достаточно. А значит, можно было прихватить известность у отца, ведь тот уже заплатил за свою славу тяжелой болезнью.

Димон был не прост.

Бедный Димон.

* * *

– Мама, ты на Багза Банни похожа, – как-то сказала мне маленькая Аришка. – Па на тебя нападает, а ты грызешь морковку...

Дети часто прозорливее взрослых! Действительно, несмотря на то что Димон, как флюгер, менял свои убеждения одновременно со сменой направления ветра времени, главным оставался в них тот самый вечный протест, некая мощная пружина «наоборот»; часто она придавала ему энергии, но в конце концов, выстрелив внезапно, обрушила его, как коротышку пирата Сэма в потрясающе смешном фильме про кролика Багза Банни, который, проведя черту, хитро предупреждает Сэма: «Только не переступай!» – и, конечно, Сэм с криком: «А вот и переступлю!» – делает шаг и...

Но вот парадокс, который какое-то время занимал меня, любительницу психологических загадок: почему старик Сапожников, снаружи лояльный конформист, внутри был совершенно независимым фантастом, последователем Циолковского, а Димон – наоборот! – под маской нонконформиста скрывал свою полную зависимость от модных в обществе образов и стереотипов, а позднее от популярных брендов и рекламы? Когда в интеллигентской среде считалось престижным быть философом-сторожем, не желающим приспособливаться к советской системе, Димон был философом-сторожем – с православной иконой в красном углу каморки, с развалом книг от даосизма через Фрейда до Платона и обратно, с самостоятельно заштопанной дырой на единственных штанах и в той же штормовке, с тем же старым рюкзаком.

* * *

Правда, всегда с машиной.

Пусть с плохонькой, пусть со старым «москвичом» или даже «запорожцем» – кремовая такая и, кстати, нравящаяся мне машиненка была у него еще в 1994 году, когда новоиспеченные буржуи уже колесили на иномарках, а у индивидуального предпринимателя Димона все разваливалось и деньги обходили его стороной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.